

KULTURA

Szkice • Opowiadania • Sprawozdania

PARYŻ Numer rosyjski 1960



• *«La Culture»* • *Revue mensuelle* •

НОМЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПОЛЬСКО-РУССКИМ
ОТНОШЕНИЯМ

Содержание

—	<i>От редакции</i>	3
Юлий Мерошевский :	<i>К вопросу о польско-русских отношениях</i>	5
Чеслав Милош :	<i>Россия</i>	14
Иосиф Чапский :	<i>Облака и голуби</i>	35
Густав Герлинг-Грудзинский :	<i>Ночные крики</i>	46 (Предисловие Вертрана Расселя)
Иосиф Лободовский :	<i>Письмо к Борису Пастернаку</i> (поэма)	56
◆		
Абрам Терц :	<i>Суд идет</i> (рассказ)	62 (Предисловие Г. Грудзинского)

KULTURA

Szkice • Opowiadania • Sprawozdania

PARYŻ

Maj - Mai

1960

INSTYTUT  LITERACKI

Наши авторы :

Юлий Мерошевский. Известный польский публицист, лондонский корреспондент «Культуры».

Чеслав Милош. Известный поэт и прозаик молодого поколения. Его на шумевшая книга «Порабощенный Ум» о положении интеллигенции в Польше, «Долина Иссы» и «Родная Европа» известны в многочисленных переводах.

Иосиф Чапский. Живописец и художественный критик. После двух лет, проведенных в советских лагерях, участвовал в организации польской Армии в Советском Союзе. Написал книгу воспоминаний «На жестокой земле». Мы печатаем здесь отрывок.

Иосиф Лободовский. Поэт и прозаик молодого поколения. Знаток русской, украинской и белорусской литературы и замечательный переводчик. В прошлом году он перевел «Стихи доктора Живаго» Пастернака. Напечатанное здесь «Письмо Борису Пастернаку» написано им по-русски.

Густав Герлинг-Грудзинский, род. в 1919 г., был сослан в лагерь в 1939 г., по занятии советскими войсками части польской территории вслед за договором Сталина с Гитлером. По освобождению из лагерей вступил в польскую армию, борющуюся на Западе против немцев, и заслужил высокие знаки отличия. Теперь — Г. Г. эмигрант, живет в Италии. Писатель, литературный критик и публицист. Сотрудник «Tempo presente», под редакцией Игнацио Силоне. Его книга — «Другой мир», посвященная воспоминаниям о пережитом в советском заключении, имела мировой отклик. Предисловие к книге написал Бертран Рассел. Мы печатаем главу из этой книги, вместе с предисловием.

IMPRIME EN FRANCE

Imprimerie S.I.P.E., 32, rue de Ménilmontant, PARIS-20e

«Культура» — польский журнал, уже 13 лет выходящий в Париже. Страна, в которой мы издаем наш журнал и тот факт, что мы материально абсолютно не зависим ни от какой организации или политической партии, дает нам полную свободу высказывания.

Одна из задач, которую мы себе ставим, — борьба с агрессивным шовинизмом, из-за которого невозможны не только мирное сожительство, но и честный диалог.

В 1863—1864 годах, во время третьего восстания Польши, которое закончилось подавлением и ссылкой тысяч поляков в Сибирь, — в момент, когда чувства поляков по отношению к русским и русским к полякам достигли наибольшей враждебности, когда Герцен, ставший в этой борьбе на сторону Польши, восстановил против себя часть своих читателей, — польский эмигрант Норвид, гениальный поэт, призывал поляков в самый разгар восстания начать диалог с русскими. Подчеркивает необходимость существования сторонников Польши в России, как и сторонников России в Польше.

По мнению Норвида «Польша и Россия сталкиваются друг с другом как два монолита, не имеющих ничего промежуточного». Норвид призывает к диалогу, потому что, — «при столкновении двух монолитов ничего не остается, кроме полного разрушения». Норвид с горечью дает свою оценку политическому кругозору своих соотечественников, которые вместо развития политической мысли «делают ставки на то, что они называют жертвой крови поколений, а что есть периодическое избивание невинных каждые 15 лет».

Норвид указывает на то, что, помимо всех разногласий, которые разделяют Польшу и Россию, существует и то, что связывает эти два народа: целый мир общих переживаний, контактов, схожих черт характера, смешения крови и даже жестокая борьба, является трагическим способом познания.

Помнить взаимные обиды — наиболее легкий путь, легко видеть друг друга в кривом зеркале. Даже великий Достоевский не сделал попытки освободиться от каррикатурного взгляда на Польшу.

Как же удивляться тому, что в польской массе, также как и в русской, — все еще живу “анти-русские” и “анти-польские” затертые, созданные обиденщиной, общие места?

Но польско-русский настоящий диалог существовал всегда. Нужно ли напоминать о дружбе Мицкевича с декабристами и с Пушкиным (до того, как политические события, последовавшие за польским восстанием, развели их).

Больше чем дружба близкое политическое сотрудничество Герцена с польской демократической эмиграцией, это еще пример, о котором нельзя забывать, также о тех малочисленных и сильных узлах, связывавших русских и поляков в революционных движениях конца 19-го и начала 20-го века.



Издавая настоящий номер “Культуры” на русском языке, мы преследуем определенную цель: рядом с поисками собственного пути развития польской мысли, основанной на конкретной современной реальности — мы хотели бы помочь высказаться молодой русской мысли вне цензуры государства и цензуры окружающей среды.

В 1959 г. мы издали “д-ра Живаго”, в переводе одного из лучших польских стилистов. В этом году мы издали — на польском языке “Суд идет”. Этот рассказ молодого советского писателя появляется по-русски в первый раз на страницах настоящего номера нашего журнала.

Редкий успех этого произведения, переведенного вслед за нашим переводом на 24 языка, свидетельствует о том, как мир прислушивается и ждет правдивого голоса из Советской России.

Мы хотели бы и в дальнейшем печатать произведения русских писателей и тем самым стать связующим звеном между ними и остальным миром. Мы хотели бы, если это нам удастся, эту связь углублять и расширять.

К вопросу о польско-русских отношениях

Начнем с простой истины: если мы будем лгать друг другу, то никогда не сговоримся. А надо ли вообще сговариваться? Пока русские намерены строить на силе и насилии, свою политику по отношению к нам и другим восточно-европейским народам, соглашение между нами и невозможно, и ненужно.

История нас учит, что политику насилия и террора, которую в разных вариантах и с разной степенью интенсивности вели цари, а за ними Сталин, можно с успехом продолжать еще десятки лет. Русский мог бы резонно спросить, почему эту политику, давшую столь фантастические результаты, надо сдать в архив. Ведь именно этой традиционной русской политике Москва обязана тем, что заставы ее ведут ко многим европейским столицам — Праге, Будапешту, Варшаве, Берлину. Как же судить о дипломатической школе, если не по конкретным результатам? Так в чем же дело?

Политика насилия и террора дает конкретные результаты до тех пор, покуда для нее существуют некоторые основные условия. Во-первых, надо располагать силой, во-вторых, — террор надо применять и у себя. Только тоталитарное полицейское государство, опирающееся на террор, в состоянии применять террор также и за пределами своей страны.

Все доступные материалы и источники на Западе — а их довольно много — показывают, что в Советском Союзе происходят постепенно некоторые перемены. Я не имею в виду т. н. «оттепели» и разрекламированных «либерализаций». Речь идет об объективных, эволюционно-социальных и структурных переменах, являющихся неизбежным следствием технологического прогресса и возрастаю-

щего уровня жизни. Технологическо-промышленный прогресс и рост уровня жизни не ведут автоматически к парламентской демократии западного образца. Лично я склонен предполагать, что в России никогда не будет демократии по западно-европейскому образцу. Но я уверен, что те формы демократии, которые в России существуют пока только в теории, — со временем преобразуются в жизнеспособные организмы и положат начало делу эволюционной перестройки.

Россия теперь выпускает ежегодно больше инженеров, чем Америка. Но технологический прогресс — это не только инженеры, это также высоко-квалифицированные рабочие. Возьмем для примера Англию. Еще десять лет тому назад две трети рабочего населения Великобритании составляли рабочие, занимающиеся физическим трудом. В настоящее время промышленная революция в Англии дошла до фазы, в которой, «физических» рабочих становится все меньше, а служащих в белых воротничках — все больше. В течение последних восьми лет число «физических» рабочих в Великобритании уменьшилось на полмиллиона, а число служащих в белых воротничках выросло на миллион.

В ближайшие годы та же эволюция начнется в Советском Союзе. По мере прогресса технологической революции будет уменьшаться цифра рабочих физического труда и начнет увеличиваться армия квалифицированных трудящихся, не занимающихся физическим трудом. Если Россия хочет идти в ногу с Америкой, у нее нет другой дороги.

Чернорабочий пролетариат понемногу отойдет в прошлое. Его место займет в России новый слой технологически квалифицированных работников.

Чего этот слой будет домогаться в жизни? Не думаю, чтобы эти новые русские люди мечтали о «пятихвостке», о которой никогда не слышали, или об «интегральной» демократии, которая для них — звук пустой. Зато можно быть уверенным, что они захотят хорошей зарплаты, сокращения часов работы, телевизии, холодильников, мотоциклов (а со временем и автомобилей), и также расширения сферы свободы и большего участия в разрешении организационных и хозяйственных вопросов. Этим людям не важны будут «оттепели», — если под этим термином подразумевать только абстрактную живопись и полноту свободы литературного творчества. Они будут домогаться чего-то более конкретного, а именно — участия в прибылях и управлении того гигантского производственного комбината, каким является Советский Союз. А этого можно достигнуть

только посредством демократизации и децентрализации партийной системы. Процесс этот уже начался.

Перемены, наблюдающиеся в Советском Союзе, не являются результатом 20-го Съезда или знаменитого «тайного» доклада Хрущева, они — следствие промышленно-технологического прогресса. «Оттепели» приходят и уходят, — тогда как структурные изменения, вызванные развивающейся индустриализацией, остаются.

Этот ход мысли приводит нас к выводу, что только царская или сталинская Россия могли управлять своими народами и народами сателлитами, системой давления и террора. На примере западно-европейских держав мы видим, что невозможно иметь в 20 веке демократию у себя и авторитарную власть в колониях. Другими словами, Россия могла бы сохранить свою традицию тоталитарно-полицейского строя только ценой отказа от индустриализации и прогресса. Коммунистическая революция толкнула Россию на дорогу индустриализации. В свою очередь, индустриальный и технологический прогресс должен определить в конечном результате, как структуру советского общества, так и коммунистическую доктрину.

Прочитав это, внимательный читатель скажет: «Если индустриализация и высокий уровень жизни со временем должны принести демократизацию строя в Советском Союзе, — то нет причины предполагать, что в Польше, Венгрии, Чехословакии будет иначе. В чем же тут проблема?»

Все перспективы не так радостны, как кажется. Постепенная, эволюционная либерализация строя не грозит никакой опасностью самой России. Она будет только выражением естественного развития и преобразования Советского Союза в современное, высоко индустриализованное общество. Но та же либерализация в Польше вызовет взрыв национализма. А национализм — это ненависть к России. В этом заключается наша проблема.

Сталину не надо было искать соглашения с польским народом, так как власть его опиралась на террор в Советском Союзе и странах-сателлитах. Хрущев этой возможности уже не имеет. Он диктатор, но уже другого типа, и под давлением новых условий провел, применительно к русским условиям, значительную децентрализацию власти. Советский Союз находится на трудном этапе развития и приспособления. Не исключается, что еще сам Хрущев или его преемник попытаются вернуться к традиции полицейско-авторитарного правления. Но трудно себе представить, чтобы в будущем современное общество огромной, высоко-

индустриализованной страны, образованное и просвещенное — позволило бы третировать себя так, как были третированы когда-то темные и бедные массы русского народа.

В 1942 году личный секретарь Гитлера Мартин Борман в письме с инструкциями Альфреду Розенбергу, тогдашнему министру «Восточных Областей», писал следующее: «Славяне должны на нас работать. Образование — опасно и ненужно. Достаточно, если они будут уметь считать до ста».

Этим положениям нельзя отказать в логике. Кто хочет управлять при помощи террора и безнаказанно эксплуатировать массы, не должен давать людям образование и высокий уровень жизни. Наоборот, он должен их снизить до уровня терроризованных «унтерменш» ей.

Я далек от всякой аналогии, — тем не менее следует объективно констатировать, что Польша не может являться протекторатом, и одновременно высоко-индустриализованной, современной и просвещенной страной.

В польской прессе подобные проблемы обсуждаются условным языком. Партийное руководство, борясь с абстрактной живописью или западными интеллектуальными течениями в литературных кругах, отлично знает, что в Польше каждая «оттепель» связана с риском вспышки антирусских чувств. Осенью 1956 года советский посланник в Варшаве сказал польским журналистам, что буржуазная пресса в Финляндии не посмела бы печатать таких антисоветских статей, как польская пресса.

Вот вопрос, которого до сих пор не разрешил советский коммунизм. Технологический прогресс, рост уровня жизни, ликвидация безграмотности, превращение Польши из аграрной страны в промышленную, — весь этот процесс возбуждает национальное чувство. Чем больше людей умеет читать и писать, — тем выше процент тех, кто стремится к независимости. Каждая новая фабрика, — каждый новый автомобиль собственной продукции — делают более ненавистным и труднее переносимым состояние сателлита.

Пока эта проблема не будет решена в Польше, — не может быть сколько-нибудь значительной либерализации, даже если бы в Советском Союзе созрели условия для перемен в этом отношении. Руководители советской политики не смогут удовлетворить желания собственного общества и расширить сферу свободы в России из опасения, что либерализация строя в Советском Союзе вызовет аналогичную «оттепель» в стране-сателлите и, как следствие, — взрыв антирусских чувств.

Вопрос — не нов. В тот момент, когда промышленная революция — начавшаяся в странах Западной Европы — распространилась также на доминионы и колонии, — стало очевидным, что единственным решением проблемы национальных движений является государственная независимость. Британская Империя перестраивается в вольный союз суверенных государств с различным общественным строем. Взамен авторитарного правления вице-королей и губернаторов возникают соглашения и договоры, основанные на стговорах. У России также нет другого выхода. Такова диалектика прогресса и исторического развития. Чем позже поймут это русские, тем труднее будет перестройка, тем больше будет потенциал ненависти, который придется разряжать.

Русских больше ненавидят в Польше, чем англичан в Индии или французов в Алжире. Ненавидят их одинаково католики и коммунисты, крестьяне, рабочие и интеллигенты, — короче, все. Эта ненависть безмерна, никакие слова не дадут о ней понятия. Русский народ не отдает себе в этом отчета. Я разговаривал со многими поляками, которые в последние годы путешествовали по Советскому Союзу. Все они сходятся на том, что советскому обществу внушено убеждение, что Польша пользуется огромной и бескорыстной помощью Советского Союза, и поэтому от поляков следует ожидать единственно дружбы и благодарности. Никто там не знает ни о Катыне, ни о массовой депортации польского населения 1939—40 года, так же как и 1946 года (когда вывезли солдат Армии Краевой). Что касается т. н. репатриации, то поляки в стране отлично знают, что это была попросту эвакуация польского населения из давних областей Польской Республики. Из центральной России и Сибири вернулись только считанные одиночки. Репатриация коснулась не более миллиона людей польской национальности. Польские коммунисты хорошо помнят, что в 1936—1937 гг. в России была уничтожена вся их элита. Потеря тем более болезненная, что эта элита была немногочисленна. Гомулка и другие тогда избежали смерти только потому, что сидели в то время в польской тюрьме. Польские коммунисты между собой говорят с горечью, что даже по этому делу нельзя добиться от русских полного выяснения. После войны русские не только оккупировали Польшу, но и навязали ей силой советские порядки, не считаясь с фактом, что социальные и экономические системы нельзя механически копировать. Как раз в то самое время, когда колониальные империи западно-европейских держав, под

напором национализма, начали рассыпаться в прах, Россия приступила в Восточной Европе к постройке своей империи сателлитов. Это запоздалая и анахронистическая концепция, не имеет никаких шансов сохраниться в будущем.

Поляк, выступающий с предложением нормализации русско-польских отношений, рискует тем, что соотечественники объявят его изменником, а русские отнесутся с величайшим недоверием. Условия, существующие ныне в наших странах, не дают возможности свободной дискуссии по этому вопросу. В качестве независимого польского журнала, — представляющего значительный сектор польского общественного мнения как в самой Польше так и за границей, — мы берем на себя эту инициативу, будучи убежденными, что соглашению должен предшествовать обмен мнений и попытка очистить атмосферу, по крайней мере, между нами здесь — в свободном мире.

Даже частичный успех на этом пути взаимного сближения был бы ценным достижением в деле реконструкции русско-польских отношений на новых началах.

Начнем с попытки формулировать нашу позицию.

В прошлом главным источником раздоров между Польшей и Россией была борьба за гегемонию в Восточной Европе. Последним отголоском восточной политики давней Польши была киевская экспедиция И. Пилсудского.

Эта глава истории окончательно закрыта. Вместе с большинством наших соотечественников мы считаем настоящие границы Польши в принципе установленными и не предъявляем территориальных претензий ни к кому. Тем самым мы констатируем, что между Польшей и Россией нет споров о территории.

Вследствие этого, мы солидаризуемся с большинством поляков нашей страны, которые не хотят ни войны с Россией, ни ее расчленения. Во избежание всяких недоразумений следует, однако, заметить, что мы считаем справедливыми и законными стремления к национальной независимости народов поработанных Советским Союзом, так же как аннексированных им. Это в первую очередь касается Украины и балтийских государств, во главе с Литвой. У нас нет права говорить от имени этих народов, — но их национальные стремления всегда найдут отклик у поляков. От свободы этих стран зависит будущее и стабилизация в этой части Европы. Нельзя рассматривать Польшу и ее проблемы отдельно от этих стран.

Не лежит в наших целях и не входит в программу организация «Санитарного кордона» — или союза государств,

направленного против России. Мы являемся сторонниками, напр., федерации Польши и Чехословакии, но не думаем ни о каком «бастионе». Мы против политики изоляции России и отстранения ее от Европы. Эта политика, применявшаяся в прошлом, принесла самые плачевные результаты.

Мы в полной мере считаемся с требованиями безопасности России. От Наполеона до Гитлера армии агрессоров шли через центрально-восточную Европу, и Россия имеет полное право обеспечить себя от повторных попыток в этом роде. Россия — дояльный сосед — имеет все основания ожидать, что независимая Польша — после опыта последних 20 лет — не присоединится к блоку государств, ведущих антирусскую политику.

Иначе говоря, у нас нет ни территориальных, ни вообще каких либо других предметов спора. Все, чего мы хотим, это возвращения нашей независимости, и ничего больше. Тогда только погаснет ненависть, между нашими странами, и откроются возможности добрососедских отношений, основанных на разуме и доброй воле.

Независимость Польши является не только нашим собственным интересом но и вашим — русским. Какая для вас польза в соседе и мнимом союзнике, который исполнен ненависти и ждет ближайшего случая, чтобы проявить ее? Взрывать поезда с поставками, идущими из Восточной Германии, парализовывать линии сообщения, бороться путем саботажа и партизанских действий, в ожидании возможности открытого вооруженного восстания. Порабощенная Польша-сателлит не усиливает безопасности России, а наоборот, угрожает и ослабляет ее.

Действительной опасностью для мира является сегодня не атомная бомба, а национализм. Англичане и французы после горьких и дорого обошедшихся уроков наконец поняли это. В то же время руководители Советского Союза полагают, что в стане «социалистических» государств эта проблема устранена с помощью «пролетарского интернационализма».

Взглянем на проблему национализма и независимости без романтической дымки и традиционной фразеологии. Советская Россия — вторая после Америки атомная держава мира. Она — наш непосредственный сосед. Что может означать «независимость» в этих условиях? Она не может означать великодержавности, ибо Польша не может и мечтать о том, чтобы равняться с Россией ни в отношении промышленности, ни военной силы, ни численности населения. Следовательно, в этой геополитической ситуации

независимость не может означать враждебного России правительства в Варшаве.

Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы дружественное России правительство в Варшаве являлось бы польским правительством, а не правительством сателлита. Тогда — в результате переговоров и соглашения — Польша может действительно стать союзником России. Но — союзником, а не вассалом.

Теперешнее Варшавское правительство, несмотря на то, что оно составлено из поляков, не является польским. Оно не может быть польским, так как не представляет большинства польского народа и обязано своим существованием не поддержке поляков, а поддержке Советского Союза. Следовательно, это не польское правительство, дружественное России. Это правительство подчиненно-служебное в отношении России. Сегодня в Польше нет друзей России, которая располагает там только горстью профессиональных коммунистов-аппаратчиков, управляющих страной, проникнутой ненавистью к России.

В любой геополитической ситуации всякий народ имеет право на независимость. Геополитические особенности должны найти свое политическое выражение, но нет такой геополитической ситуации, которая бы оправдывала порабощение.

Коммунистическая доктрина интернационализма не удовлетворяет национальных стремлений к независимости, — так как санкционирует владычество партии, не пользующейся поддержкой общества в целом, или хотя бы большинства его.

В эпоху, когда мир распался на два блока, возглавляемых двумя атомными сверх-гигантами, понятие независимости и суверенности — в особенности малых и средних народов — сузилось необычайно. Но независимость, если за этим словом вообще сохраняется какое-либо значение, не может означать меньше, чем право на собственное правительство, созданное свободной волей народа. Пока живо в человеке сознание национальной принадлежности, народы не перестанут бороться за право на собственное правительство и самоуправление.

Подлинное польское правительство, даже дружественное России, не было бы правительством коммунистическим. И только по этой причине Советский Союз отказывает полякам в праве на независимость. Такую политику нельзя назвать ни реалистической, ни дальновидной. В результате ее Польша не стала ни коммунистической, ни про-русской.

Мы слишком малый народ, чтобы быть угрозой для России, но мы слишком большой народ, чтобы Россия могла нас проглотить.

Русские должны понять и признать, что первым и основным шагом на пути к честному соглашению должно быть восстановление польской независимости. Пока поляки лишены права свободного выбора своих представительных учреждений и правительства, — Польша не является независимым государством, хотя бы на ее территории и не было ни одной советской дивизии.

В Польше нет недостатка в аппаратчиках, утверждающих, что свободные выборы привели бы к хаосу и вооруженной демонстрации против России. Тем же аргументом пользуются английские колонисты в Кении, когда утверждают, что предоставление права голоса неграм привело бы к супрематии черных. Те, кто отказывают народам в праве на независимость и самоуправление, всегда делают это во имя « миссии белого человека » или во имя « пролетарского интернационализма ».

Но еще не существовало в мире империи, которая бы с течением времени не поддалась под напором национализма. Мирная политика Советского Союза вытекает в большой мере из сознания, что в случае войны или серьезного кризиса — поработанные народы подымутся против Москвы.

В конечном результате ведущей державой мира будет не та, которая выиграет состязание в производственной мощи, — а та, которая сыграет решающую роль в организации новой международной системы, в которой независимость будет достоянием каждого народа, а не исключительной привилегией членов атомного клуба.

Ю. МЕРОШЕВСКИЙ



Россия

Нам незачем делать вид, что мы свободны от свойственного всем полякам «комплекса». Лучше честно признаться в нем и постараться его в себе исследовать — и по возможности, бесстрашно. Поляки и русские не любят друг друга или, точнее, питают друг и другу все оттенки неприязни, вплоть до презрения, отвращения и ненависти, что, впрочем, не исключает и неясного взаимного влечения, всегда с примесью недоверия. Преграду между ними воздвигает, говоря словами Джозефа Конрада, *Incompatibility of temper* («несоизмеримость темперамента»). Возможно что все народы, если их рассматривать как целое, а не как совокупность одиночек, отвратительны, и на их примере соседи открывают жесткую правду о человеческом обществе вообще. Не исключено, что поляки знают о русских то, что сами русские знают о себе, не желая в том признаться, — и наоборот. Нелюбовь националиста Достоевского к полякам — род самозащиты. Он отзывается о них с уважением только в «Записках из мертвого дома», хотя эти соседи по тюрьме, в броне своего римского католицизма и патриотизма, на каждом шагу подчеркивающие свое различие и превосходство, не будят в нем сердечных чувств. Вероятно что и для поляков также всякое соприкосновение с русскими неприятно и настраивает к обороне, ибо снимает с них маску пред собой.

Истоки спора, спутанные и столь же трудно-выяснимые, как причины наследственной «вендетты» двух родов, живущих на той же улице, остались бы чем-то местным и провинциальным, если бы в них не крылся зародыш «планетарных» событий. Россия могла стать тем, чем она стала, только после ликвидации польско-литовской Республики, которая на юго-востоке граничила с Турцией, и приведя, с 1839 года, мерами административного принуждения, в пра-

вославие обширные области со значительным униатским населением, зависимым, под влиянием Польши, Ватикану. Там, где «греко-католическая» церковь уцелела, как в Галиции Габсбургов, принудительное обращение в православие состоялось после второй мировой войны — событие вполне непонятное, если рассматривать его вне связи с прошлым.

Принято думать, что враждебность поляков в отношении русских — следствие нанесенных им обид. Это только частью верно. Причины коренятся глубже, чем в 19 и 20 веке. Все европейские перевороты свидетельствуют о преемственности, сохраняющейся под поверхностью перемен. Культурной преемственности не уничтожила во Франции Великая Революция, не уничтожила и Октябрьская Революция в России, а в Польше — переход власти в руки коммунистов в 1944—45 году. Каждая цивилизация отмечена печатью одного основного, решающего для нее исторического периода. Франция всем обязана своей буржуазии, творческой и могущественной еще за несколько столетий до Революции. Одновременно в Польше развивалась культура шляхты, и доныне польский крестьянин или работник неприятно «отдает» для русского шляхтой, ее повадками и ее влиянием, за что и получил насмешливую кличку «пана».

Прежде всего — 16 и 17 век. Не легко теперь отдать себе отчет в том, что польский язык, в качестве языка господствующего и просвещенного класса, выражал изысканность и светский лоск далеко на востоке, в Полоцке и Киеве. «Москва» — были варвары, с которыми, как с татарами, велись пограничные войны, но не интересовались ими особенно. В польской литературе того времени чаще говорится о венграх, немцах, французах и итальянцах, чем о подданных царя. Отмечается их непонятная покорность перед деспотизмом владык, их коварность и вероломство, осмеивается дикость обычаев (а французам столь же дикими казались обычаи Сарматии). Движение идей, колонизация степей и непроходимых чащ, — шли с запада на восток. Почти все, что ценилось, — образцы ремесла, архитектуры, письменности, споры вокруг гуманизма и реформации, — приходило из Фландрии, Германии, Италии. Не мало заимствовалось и с востока, благодаря великому торговому пути из Турции, главным образом, в одежде, упряжи и соответствующих наименований. Тогда как Москва, постепенно преображавшаяся в Россию, ничем кроме своей растущей мощи, не импонировала. Чем для культурного раз-

вития Польши, были века 16 и 17 в отношении России отмечены только 19 век.

С этого то периода пустоты на востоке берется у поляков понятие России, как о чем-то внешнем и запретном. Свое поражение поляки приняли впоследствии с изумлением, как приняли бы татарское иго: осмыслить его можно было только как наказание за грехи. Таким грехом и была их, столетиями тянувшаяся, дискуссия о собственных недостатках — в литературе, в сеймиках и парламенте, — из которой почти ничего никогда на практике не получалось.

Покоренный и непокорный противник — явно презирающий завоевателя и не признающий за ним ничего, кроме способности слепого повиновения приказам, раздражает. В этом напоминание: да, ты силен, но какой ценой? Между русскими и польскими — обычно в эмиграции — писателями велась полемика, в которой обе стороны не щадили друг друга. Антипольские стихотворения Пушкина выражали гнев на безумную гордость побежденных, не желающих смириться и признать, что их поражение окончательно, и мечтающих о реванше, конспирирующих и подстрекающих европейские дипломатические канцелярии против России. Впрочем, есть в этих стихах нечто большее, чем осуждение народа, пытающегося вернуть независимость. Еще жива в них память великого соперничества: существование Польши снова поставило бы вопрос о великодержавности, «быть или не быть» Русской Империи. И Пушкин вопрошает: «славянские ручьи сольются-ль в русском море»? Польский поэт, революционер, союзник карбонариев, был тогда в лучшей моральной ситуации, чем его коллега (и друг, пока не разделила их политика), полупленник при царском дворе. Жестокий памфлет Мицкевича против России, стих которого не перестал быть образцом сжатости стиля, оттого так меток, что ненависть к самодержавию соединяется в нем с сочувствием к его жертвам, т. е. к русскому народу. Наблюдения Мицкевича, в сущности не отличаются по содержанию от гоголевской сатиры, хотя есть в них и другой элемент: холодность чужеземца, не умеряемая привязанностью.

Ужасом веет на него от нечеловеческой угрюмости ландшафта, бездушности отношений между людьми, пассивности и апатии их подчинения. И само племя, населя-

ющее страну, внушает тревогу, кажется бесформенной глыбой, еще нетронутой резцом ваятеля-истории:

Spotykam ludzi: z rozrosłymi barki
Z piersią szeroką, a otyłemi karki:
Jako zwierzęta i drzewa północy,
Pełni czerstwości, i zdrowia, i mocy.
Lecz twarz każdego jest jak ich kraina.
Pusta, otwarta i dzika równina;
I z ich serc, jako z wulkanów podziemnych,
Jeszcze nie przeszedł ogień aż do twarzy,
Ani że w ustach rozognionych żarzy,
Ani zastyga w czoła zmarszczkach ciemnych —
Jak w twarzach ludzi wschodu i zachodu,
Przez które przeszło tyle po kolei
Podań i zdarzeń, żalów i nadziei,
Że każda twarz jest pomnikiem narodu.
Tu, oczy ludzi, jak miasta tej ziemi.
Wielkie i czyste; i nigdy zgiełk duszy
Niezwykłym rzutem źrenic nie poruszy.
Nigdy i długa żałość nie zacieni.
Z daleka patrząc — wspaniałe, przecudne;
Wszedłszy do środka — puste i bezлюдne.
Ciało tych ludzi, jak gruba tkanica,
W której zimuje dusza gąsiennica,
Nim sobie piersi do lotu wyrobi,
Skrzydła wyprzędzi, wytka i ozdobi. —
Ale gdy słońce wolności zaświeci,
Jakież z powłoki tej owad wyleci?

« Встречаю людей с плечами в сажень, грудью широкой и тучным затылком; как звери и деревья севера, полны бодрости, здоровья и силы. Но лицо каждого, как их страна: пустая, открытая, дикая равнина. Из сердец их, как из подземных вулканов, огонь не дошел еще до лица, ни в устах зажженных не пламенеет, ни в темных морщинах чела не застывает, как на лицах людей востока и запада, через которые столько прошло чередой преданий и событий, надежд и скорбей, что каждое стало памятником народа. Здесь глаза людей — как их города: большие и чистые; и никогда смятенье души порывом неожиданным не тронет зениц их, никогда не затенит их долгая печаль, Издалека гля-

нешь : великолепны и чудны. Вступишь вовнутрь : — пути и безлюдны :

Тела этих людей подобны ткани грубой,
В которой зимует душа гусеница,
Пока грудь не приготовит к полету,
Выпряжет крылья, выткет и украсит. —
Но, когда засветит солнце свободы. —
Какое насекомое вылетит из этой оболочки ?

Поэма Мицкиевича суммирует польское восприятие России. Много десятков лет позже тот же страх бесформенности и морального хаоса нашел выражение в повести Джозефа Конрада « Under Western Eyes » в которой можно видеть полемику с русским мессианизмом Достоевского (хоть сам автор в том не признавался).

Гитлеризм теперь прошлое, но вряд ли изгладилось рас пространенное в немецкой массе представление о славянах и, в первую очередь их ближайших соседях, поляках, как о « подлюдях ». Наци только использовали это представление, облегчившее им чудовищные злодеяния. Было бы преувеличением утверждать, что поляки не сознают, какие их недостатки позволили немцам приобрести приятное чувство собственного превосходства : беспорядочность, неспособность освоить материю (дырявые мосты и непролазная грязь на дорогах принадлежат в европейской литературе к стандартному образу Польши со времен средневековья), легкомыслие, пьянство, отсутствие таланта устроить жизнь *gemuetlich*. В то же время, однако, они знают за собой достоинства, редко встречающиеся у немцев, которых называют тупыми и тяжелыми : фантазия, чувство иронии, дар импровизации, подшучивание над всякой властью, благодаря чему они как бы « растворяют » каждую политическую систему изнутри, — подобно тому, как итальянцы очеловечили фашизм, обратив его в род маскарада. Фридрих Ницше, так охотно подчеркивавший свое польское происхождение, знал, что делал. Но контраст этих двух стереотипов, существующих в народном воображении, может послужить уроком полякам, когда идет речь об их отношении к русским. У тех неумение навести порядок в быту плюс взяточничество и воровство казенного достояния доходили до небывалых размеров, а организационное рвение успешно было только в том, что непосредственно служило « государеву делу ». Именно по-

ляки, очень эффективные всюду за границами своей страны, когда, поневоле или добровольно, оказывались в России, были там цивилизующим элементом. Их коллективное суждение о русских всегда было несравненно более сложным, чем суждение немцев о поляках, не без оттенка некоторой презрительной жалости. Они себя чувствовали выше благодаря своей культурной традиции, католическому кодексу морали и принадлежности к Западу. С другой стороны как удар по лицу ошеломлял их какой-то оловянный покой на дне русского характера, нерушимая терпеливость, крайность идеологии, немыслимая для людей интеллектуального компромисса, и тем унижительнее была память поражения.

Для русских конвенциональный польский обычай расмаркивания, улыбок, вежливости и лстивости был пустой формой, тем самым — фальшью. Копилось в них убеждение, что они выше этих поверхностных, мелких, мотылькообразных, с их смешной шепетильностью и склонностью расходовать себя в героических и бестолковых жестах. Достаточно проникательные, чтобы оценить старшую культурную форму, болезненно ощущая себя ниже западного уровня, с нечистой совестью слуг самодержавия, они отдавали себе отчет, почему носится в воздухе вокруг них невысказанное слово : варвары. Обаяния полно было для них именно то, что их отталкивало : поэтичность, ирония, легкость, латинский обряд.

Влюбленные в Запад, обвороженные Францией, поляки предавались иллюзии. Ибо со страной Монтэня соединяло их только то, что они переняли и позаимствовали, хоть издавна. Это немало. Но вся социальная структура Франции была в корне иной. Как может шляхтич по натуре (или наследник его культуры) найти общий язык с мещанином по натуре ? В отношении социального строения Польша была ближе к России. И тут и там капитализм появился поздно и не оставил прочных следов в психике. Польские расчеты на европейскую помощь, чаще всего основанные на вере в ничего не значившие обещания, всегда кончались провалом. Наполеон был разбит, но до того еще успел использовать польские легионы для борьбы с повстанцами на Гаити, и до сих пор там встречаются люди с кожей цвета черного дерева и польскими фамилиями, — потомки солдат, которым не довелось вернуться в Европу. Несмотря на это, наполеоновская легенда сформировала политические

навыки поляков, склонных принять за аксиому, что свобода это — «ветер с Запада». Потом их ставка была на демократические революции, долженствовавшие сокрушить всех королей и тиранов. Но революции гасли без больших последствий; и крымская война отнюдь не была крестовым походом.

В течение всего 19 века нарастало среди поляков то, что можно назвать комплексом невыслушанной Кассандры. Если оставить в стороне скоро-преходящие (обыкновенно, только риторические) вспышки гнева, и высказывания нескольких заядлых руссофобов, как Карл Маркс и маркиз де Кюстин, то поляки всюду натывались на непонятную в их глазах любовь западных европейцев к России и символизирующему ее царизму. Напрасно они кричали, что там, в пространствах Евразии, сочетается безграничное честолюбие с безграничными возможностями. Выслушав учтиво, союзники шли в царское посольство собирать информацию о подозрительных революционерах. Как следствие — отношении поляков к Западу по меньшей мере двойственно, если не едко-насмешливо.

Польские и русские революционеры в борьбе против царизма должны были быть братьями.

Однако — не взирая на то, что говорят теперь учебники — *incompatibility of temper*, разность исторических формаций, затрудняла прочный союз между этими людьми, равно жертвенными и равно образованными, благодаря принадлежности к интеллигенции. Даже самые радикальные среди поляков во многом не сходились между собой, ибо любили прошлое и часто — бессознательно — трактовали революцию, как средство распространить на все человечество давние парламентские привилегии шляхты, а не как начало чего-то нового, никогда раньше не существовавшего. Ждали от революции справедливости, и прежде всего она должна была устранить господство одних народов над другими, т. е., в данном случае, восстановить утраченную государственность. Стремление к социальному преобразованию сочеталось со стремлением к независимости, а так как в этом последнем пункте сходились также (хоть и не всегда) прогрессивные элементы с консерваторами, то притуплялось острие радикальных программ. У русских зато были хлопоты совсем другого рода. С горечью могли они думать о своем суверенном (и как еще!) государстве. Ничто не тормозило их революционной мысли, ни религия, вернейшая опора трона, ни давние общественные установления, кото-

рых они не любили, потому что считали их равнозначными с гнетом и царским всевластием. Целиком устремленные к будущему, они хотели все разрушить и построить заново на земле обращенной в *tabula rasa*.

Нигилизм, с его огромными последствиями, не коснулся Польши. Как бы великодушно ни относились революционеры обоих народов друг к другу, они не были в состоянии забыть яблоко раздора, — Белоруссию и Украину. Русские говорили правду, упрекая своих коллег, в том, что они собираются унаследовать Жечпосполиту, которая постепенно колонизовала эти края и насаждала в них униатскую, греко-католическую церковь. Но правду говорили и их коллеги, упрекая их в том, что они поддерживают планомерную руссификацию этих земель, по казенному называвшихся «Западной Россией», как нечто самоочевидное и справедливое. Весь этот вопрос о «ничьей земле» — поскольку и тем и другим местные языки казались только крестьянскими диалектами, — был неясен и невыяснен.

В начале нашего столетия некоторые польские марксисты, понимая, что национализм ослабляет революционную энергию и ведет к солидарности классов, ставили на первый план переворот во всей империи, и противились лозунгу независимости. За эту ошибку Розы Люксембург расплагились ее последователи и преемники. Это было — как если бы в наше время проповедывали народам Африки революцию, но под условием, чтобы они остались интегральной частью Франции. Социалисты-сторонники независимости, к которым принадлежал Пилсудский, взяли верх. Суверенная Польша возникла после первой мировой войны, используя немощь восточного соседа, и война 1920 года была популярной войной, поддержанной рабочими и крестьянами. Некоторые события, имевшие место позже на других континентах (особенно в арабских странах), бросают свет на такие черты нового государства, как бурная эмоциональность национализма, доминирующая позиция интеллигенции, связанной социологически (кроме крестьянских государств Прибалтики) с помещичьим, клонящимся к упадку, классом, — и роль армии. Что касается преемников Розы Люксембург, коммунистов, то они нарушили общенациональное «табу» и очутились в трагическом тушике. Стреляла в них полиция, стрелял Сталин и в 1938 году распустил партию, приказав убить ее вождей, вызванных в Москву. Так — наоборот — исполнилось предвидение Маркса,

который в эпоху « Коммунистического Манифеста » считал условием революции в Европе разрушение восточной империи и восстановление Польши в границах 1772 года.

Маркс — нравится ли это нам сегодня или нет — говорил о « европейской цивилизации » и делил народы на « плохие » и « хорошие ». На восточной периферии этой цивилизации он помещал три народа, которым сочувствовал, как творческим и вольнолюбивым : поляков, венгерцев и сербов. Он не выносил панславизма, со страстной антипатией выражался о славянах — с двумя упомянутыми исключениями — всегда, по его словам, готовых служить орудием тирании. Оттого его статьи о международной политике производят на польского читателя странное впечатление. Они точно так же могли быть написаны поляком 19 века. Как глубоко заложены в нас эти чувства, можно убедиться и сегодня. Ибо среди всех народов мира любовь действительная и взаимная соединяет поляков только с венграми и сербами.

Моему поколению все те минувшие осложнения казались темными и далекими. Мы были воспитаны в нормальном государстве, блеск и тени которого были его внутренним делом ; дела его решались (как же иначе ?) в Варшаве, а не в какомнибудь другом месте. Мученичество, тайные союзы, ссылки в Сибирь, — все это было в учебниках, читалось об этом с сочувствием, но и с дозой насмешливости к романтическому пафосу прошлого. Россия представлялась моему воображению неясно, в чуть брезжащем свете. В конце-концов спор как-то разрешился, нас разделили пограничные столбы. На стороже стояло табу, запрещавшее задумываться над возможностью введения у нас и их системы. Марксизм, революция, пожалуй, но не ихние. Пусть делают у себя, что хотят, нас это не касается. Можно считать такой подход глупым. Но он был в то время общепринят, типичен, и каждый политический деятель если не считается с этим, совершает ошибку.

Впрочем, в пространстве между Россией и Германией эмоциональные доминанты складывались не всюду одинаково. В северозападных и южных провинциях Польши, раньше входивших в состав прусской и австрийской монархий, доминировало, прежде всего, сопротивление немецкому *Drang nach Osten*. Мне до немцев не было никакого дела, я не знал их языка, истории, кроме жестокой легенды о « крестоносцах » ; армия императора Вильгельма в нашей

местности не оставила по себе особенно неприятных воспоминаний. Показывая пальцем на лоб, как многие мои современники в эпоху нарастания гитлеризма, я интенсивно переживал драму времени, не представляя себе этих невидных с Земли марсиан. Политика во мне, в процессе зашифровки, преобразалась в космические образы.

Зато Россия, была относительно, — впрочем, только относительно, — конкретной, с детства помнились ее хаос и безмерность, и, прежде всего, — язык. За столом в нашей убогой и неприглядной (как я теперь сознаю) квартире, — русская речь была языком юмора, с ее сладчайше-грубыми непереводаемыми оборотами. Такая, например, щедринская фраза о двух сановниках, осыпавших друг друга бранью на радость окружающей черни : « и ругались так ужасно, что восторженные босяки ежеминутно кричали ура », если перевести ее, ничего не значит. Кажется что поляки именно через язык, притягивающий их и высвобождающий в них славянское « созвучие », интуитивно постигают « русскость » — в языке содержится все, чему можно научиться о России. Однако то, что притягивает, одновременно и угрожает. Одно упражнение, которое я проделывал, было многозначительно. Надо было втянуть в себя воздух и произнести глубоким басом : *вырыта заступом яма глубокая — потом быстро зашебетать тенорком : выкопана шпатель яма глэмбока* ». Распределение ударений и гласных в первой фразе выражает угрюмость, мрачность и силу, во второй — легкость, ясность и слабость. Это было упражнение в духе иронии над собою, но вместе с тем и предостережение.

Сознание опасности в моем поколении отталкивалось, и на все лады камуфлировал себя политический тупик мысли и слова. Трудно было тогда предвидеть, что мартиролог, сданный в музей, будет продолжаться. Если меня тревожило предчувствие катастрофы, то катастрофы планетарной, мировой, а не в моей стране. Впоследствии это стало поводом еще одного моего конфликта с моим окружением. Поляки в своей массе, уже в первые месяцы второй мировой войны, вернулись в прошлое, к старым, привычным автоматизмам. Двадцать лет независимости — короткий срок, и навыки, приобретенные за это время, стерлись в одно мгновение, как пыльца с крыла бабочки. Подавляла аналогия положения : раздел страны двумя врагами, тюрьмы, ссылки,

Сибирь, надежда на Францию и Англию, польские легионы на Западе. Автоматизм объясняет и концепцию эмиграционных политических деятелей. Спасение должно было прийти в результате поражения как Германии, так и России, — потому что так случилось в первую мировую войну. Однако, как верно замечено, каждая пьеса только один раз является на сцене истории; если разыгрывают ее во второй раз, трагедия смешивается с элементами кровавого фарса. Многие из нас, интеллектуально сформировавшиеся в условиях, которые настраивали скорее скептически по отношению к восторженному национализму, пережили в годы войны тягостный внутренний разлад: признаться самому себе, что разум и опыт одинаково открывают фальшь в возвращении к старым путям — чудовищно тяжело, когда речь идет об униженном и преследуемом народе.

Не раз нам случается быть свидетелями происшествий, которые как бы дистиллируют наши запутанные чувства, очищают от всего лишнего и сводят к нескольким простым очертаниям, но при этом достаточно сложны, чтобы явиться метафорой, всегда вернее выражающей действительность, чем любая теория. Вместо того, чтобы пробовать уловить свой образ в ранней молодости, я должен забежать далеко вперед, даже дальше чем время второй мировой войны — к самому ее финалу, в январе 1945 года, — и рассказать о сцене, запечатлевшейся в моей памяти со всеми ее подробностями.

В большой комнате деревенского дома на скамьях расположилось несколько десятков советских солдат и унтер-офицеров. На коленях, обтянутых худыми штатскими штанами, я держал жестянку с табаком и завертывал сыпучие крохи в папиросную бумагу. Тех, чьи плечи напирали с двух сторон, в тесном ряду сидевших справа и слева, я не отличал от легендарной России. Кто-нибудь совсем посторонний, кто никогда прежде не сталкивался с русскими, не различал интонаций голоса и значения жестов, мог бы принять их за «новых людей»...

Для меня, однако, они были законными хозяевами сокровищ, из которых черпали Толстой и Достоевский. Их предки победили Наполеона, а они победили Гитлера. Наши взгляды были направлены на середину горницы, где стоял мужчина, на вид моложе тридцати лет, в длинном белом кожухе, с красивым лицом того типа, какой встречается в прирейнских провинциях. Немецкий пленный, конквистадор,

был в их власти. В ту зиму трупы в зеленых мундирах, валявшиеся кругом на полях, с остекленевшим блеском зубов, не будили во мне ни триумфальных чувств, ни жалости. Безразличные, словно камни, они были частью зрелища наказанной гордыни, и я в ироническом раздумьи проходил мимо втопанной в снег пряжки пояса с надписью «gott mit uns». Так он стоял, — а за ним чистенькие дома, ванные комнаты, елки с цветными шарами, тщательно возделанные трудом поколений виноградники и музыка Иоганна Себастиана Баха. Вырванный из своего мира — он стоял пред их миром, миром без ванн, без скатертей в наследственных ларях, без вышитых сентенций на полотенцах и наволочках, без розовой клумбы, с одной водкой: лекарством от бедности и беспросветной тоски. Глупый или, если хотите, наивный. Дело ведь было не просто в том, что он стоял пред их множеством один — и безоружный пред их автоматами. Нет, — психическая насыщенность их, молчащих, ставила этот аэропаг над ним, ибо никогда не создавал он, с подобными себе, такого напряжения, когда какая-то телепатия, без слов и знаков, спаивает одиночки в одно целое, различное от каждого в отдельности. Ему всегда нужно было слово, крик, песня. Из этих, может быть, полуграмотных людей была какая-то монументальная мудрость приятия неизбежного, и именно то, что он ничего не мог прочесть в обращенных на него глазах, наводило на него страх.

Мне, быть может, надо было его ненавидеть, прежде всего, за глупость, которая, помноженная на глупость миллионов, привела к власти Гитлера, а из него сделала слепое орудие убийства. Но я не находил в себе ненависти. Почему то я вообразил себе его на фоне солнечного откоса, в рабочей блузе, толкающим тачку с рассадой. Они тоже его не ненавидели. Видя, что он боится неизвестности, как пойманый в клетку зверь, один из русских встал и подал ему папиросу, — в этом жесте было примирение. Другой подошел и потрепал его по плечу. Потом подошел к нему унтер-офицер и медленно, отчетливо, произнес длинную речь. Это было бесполезно, немец не понял ни слова, но не спускал глаз с уст говорившего, как пес, старающийся угадать смысл слов хозяина. Из дружеского тона речи он заключил, что не будут мстить и не сделают ему зла. — «Ты не бойся» повторял убедительно унтер-офицер. Ничего плохого не будет, для него война кончена, он уже не враг, а человек как все, будет работать для мира, сейчас отведут его в тыл.

Сердечность в голосе, начальственная вразумительность успокаивали пленника, он несмело улыбнулся: благодарность. Один из солдат сонно поднялся с скамьи, хотя не было приказа, и забрал его из комнаты. Остальные впали в прежнюю апатию, отдых физических измученных людей. Спустя несколько минут конвойный вернулся, таща за собой белый кожух, бросил его около своего мешка, сел, скрутил папиросу. В том, как он затянулся дымом, как сплунул на пол, заключалась их меланхолическое размышление о хрупкости человеческой жизни: «эх, судьба».

Жестокость? — Но нужно видеть этот случай на фоне той войны. Немцы истребили несчетные тысячи советских пленных, загнав их за колючую проволоку и осудив на голодную смерть. Весть об этом быстро распространилась, и с тех пор люди предпочитали не сдаваться в плен, — а биться до последнего. Число беззащитных людей, перебитых немцами в Польше, превышает численность населения Швейцарии. Что касается союзников, то их солдаты в борьбе с губителями народов подчас тоже умели без шума ликвидировать пленных. Массовые или единичные акты этого рода, однако, сопровождалась большей частью ненавистью и презрением. Иначе говоря, жертвы признавались выродками рода человеческого, их превращали в отвратительные куклы, прежде чем с ними расправиться; этот психический процесс подготовки планомерно проводился нацистами по отношению к евреям и полякам. Тогда как в данном случае эти люди убили без ненависти — по необходимости. Необходимость приняла форму трудности с отправкой в тыл одного пленного... или форму белого кожуха. Может быть, они думали, что забрать у человека теплую одежду и повести его на морозе было бы некрасиво или неудобно. Мы сами постановляем, что необходимо, сами проводим границу между «необходимым» и «возможным». Комедию гуманности, разыгранную ими, мог бы кто-нибудь назвать презренной уловкой, если бы она так явно не соответствовала какой-то их внутренней потребности. С искренним сочувствием сочеталось убеждение, что такую операцию следует провести по возможности безболезненнее и тише.

Кто знает, не касаемся ли мы тут самой сути польского «комплекса». Цепь исторических причин и следствий, определяющих коллективное бытие, длинна, и отдельные личности не отдают себе отчета, откуда взялись их те или иные черты. Последние звенья цепи — советский строй —

не казались мне решающими, когда, сидя на лавке, я взвешивал в мыслях происшедшее. Строй не родится в пустоте, и хотя в готовом виде он мог годиться на экспорт, но был продуктом, в основных чертах, родной почвы. Припомнились мне некоторые отрывки из русской литературы прошлого столетия; не пренебрег я и польским стереотипом, согласно которому «россиянин, зарезывая кого-нибудь, способен проливать горькие слезы над своей жертвой». «Зарежет, да и поплачет». Со всей яркостью встало предомной то, что я читал о сектах восточного христианства, до известной степени близких мне, благодаря «восточной» частице моего существа. Безжалостная природа и безжалостный общественный строй внушили сектантам уверенность, что весь мир — творение Сатаны и во зле лежит. Только Царство Божие сможет поправить власть Сатаны. Тождественную с законом сотворенного мира русские мистики верили, что с наступлением Царства Божьего спасется не только человек, но и мушка, и муравей. Это почти сверхчеловеческое сострадание на деле, однако, полагало пропасть между замыслом и действием. Бессилен бунт сердца, если до пришествия Христа мы целиком во власти мирского греха. А позже, когда Царство Божие было переименовано в Коммунизм, утешала мысль о том, что путь к нему ведет через «железную необходимость» — она заставляет уничтожать врагов, подавлять и мучить — но подчиняясь ей мы приближаем великий День. Солдаты могли не иметь ничего общего с христианством, не быть коммунистами. И однако, благодаря тому, что их с детства окружало, они были вытрезивлены в двойственности, нигде так далеко не зашедшей, как в их стране. Государство с его возвышенной конституцией, воспитание, литература насаждали идеал братства, «новый человек» был благороден и чист. Но все это лишь в теории, которая росла и разрасталась, как коралловый остров над поверхностью моря. Этот остров провалился бы, если бы не поддерживали его искусственно с помощью «конспирации против правды». Играя комедию больше пред самими собой, чем пред пленным, солдаты отдавали дань идеальным требованиям, а одновременно знали, что действительность идет совсем по другому пути.

Когда прорвана нить между порывами души и делом, благородное слово, дружеские объятия, слезы сердечных излиятий, пленительная русская «душа на распашку», — становаются полетом в край, где не властны земные узы, и человек человеку брат. Все переживания глубоки и правди-

вы, и душе позволена свобода, — хотя в то же время что-то в нас не обманывается, что только душе позволена свобода. И не будет непоследовательно, если сразу же потом донесем на приятеля или убьем его, — потому что ведь не мы виноваты, что так на свете ведется. В Царстве Божием или в Коммунизме — там другое дело, там лев и ягненок будут лежать рядом. Такое сбрасывание с себя ответственности, однако, легко переходит в привычку; порог мнимой «необходимости» устанавливается очень низко. Зло совершается вяло, без сердца, но и не делается ничего, чтобы его избежать. Возникает тенденция за каждым актом свободы видеть только замаскированное служение материальным потребностям.

Поляки достаточно родственны русским и достаточно сознают угрожающую им изнутри опасность, чтобы трепетать. Все же: — прошлое, которое их сформировало, было, в большой мере, свободно от эсхатологии. Радикальные протестантские секты — почин и предвестие будущих демократических движений — далеки были от мнения, что справедливость на земле недостижима. Случалось, они запрещали своим членам занимать общественные должности (ибо всякая власть должна прибегать к мечу), но обсуждали вопрос, как соблюдать евангельские заповеди в существующем обществе, т. е. по существу — как организовать его. В польской литературе не найдется таких фигур, как Алеша или князь Мышкин Достоевского, означающих дилемму: «либо в се добро, либо никакого добра», нет и отчаянных метаний «ненужных людей», жаждущих Цели, Бога, чем в течение почти столетия знаменовалось в России приближение революции, с ее абсолютной целью. Коронное произведение польской литературы, почитаемое так, как в немецкой литературе почитается «Фауст», имеет темой прометейский бунт против Бога во имя солидарности с несчастными людьми (тягчайшее обвинение: «Ты не Отец миру, а — Царь!»), но бунт этот преодолевается христианским смирением и политической деятельностью на пользу людям (русский выбрал бы либо смирение и святость, либо деятельность). Заоблачный романтизм поляков, если присмотреться поближе, оказывается значительно более земным и скромным в своих мечтаниях, чем русский реализм, обуреваемый безмерными желаниями. Из пребывания в школе я вынес немалую дозу элементов дуализма, благодаря чему, мог, пожалуй, лучше понимать русских, чем другие, но это уравновешивалось другими влияниями, которые лучше всего передает название польского произве-

дения 16 века, проработанного нами в классе: «De Republica Emendanda»

Не без значения была также и моя симпатия к литовцам. Сравнивая их с поляками, я видел их большую устойчивость и хозяйственность. Их кооперативы могли быть образцом для всей Европы. С материей, как бы то ни было, надо считаться, и я с ней считался.

Прав я или нет, — здесь я раскрываю мой «комплекс». «Глубина» русской литературы всегда была для меня подозрительна. Что в глубине, если она покупается такой дорогой ценой? Из двух зол не лучше ли предпочесть «поверхность», чтобы с ней вместе иметь удобно построенные дома, сытых и умеющих наладить свою жизнь людей? И что в мощи, если всегда это — мощь центральной власти, а в провинциальной глуши неизменно повторяется «Ревизор» Гоголя? Через Польшу моей молодости проходила линия резкого контраста между провинциями, раньше бывшими в прусском и австрийском управлении, и теми, где русские показали свои административные таланты. Империя. Но русские революционеры, мечтая о *tabula rasa*, лгали себе самим. Посадив в Кремле своих вождей, они могли строить только из того материала людей, привычек, обычаев, какие нашли под рукой, и хуже еще, — сами были вылеплены из той же родной глины. Советские историки твердят, что Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Вторая были «прогрессивны», потому что работали для будущей Революции. Как ни смешно такое понятие «прогресса», оно свидетельствует о культе энергии, ломающей препятствия всегда с престола высшей власти, с полным пренебрежением к непосредственному росту.

В моем отношении к России содержался зародыш позднейших недоразумений между мною и моими французскими или американскими друзьями. Упрекали меня в национализме, хотя и знали хорошо, что я не делю людей на лучших и худших по их языковой, расовой или религиозной принадлежности и не признаю коллективной ответственности за преступления. Вместе с тем их удивляла моя симпатия к русским, рассматриваемым индивидуально, какая-то предрасположенность в их пользу. Все это не вязалось, выглядело неясно, и я с огорчением констатировал, что не умею найти слов, чтобы провести нужные разграничения. Отсутствие терминов не было только моим личным недостатком. XX век, в паническом страхе пред бреднями националистов и расистов, уклонился от исследования тончайшей ткани исторической установки, пытаясь засыпать пропасть

времен цифрами продукции или названиями нескольких политико-экономических систем. В исторической ткани нельзя пропустить ни одной нити, — даже учений забытых русских сект. Только с виду исчезает прошлое, а в действительности — незаметно трансформируется. «Дела давно минувших дней», как характер древнего Рима, продолжают жить, ибо там, а не в ином месте, складывался католицизм. Или, если взять другой пример, завоевание земель к югу от Луары французами в средние века отразилось в коллективном подсознании их жителей неоднократно в виде протестантских, потом революционных и вольнодумных склонностей. Когда еще описание стран и цивилизаций не было обставлено множеством запретов, вытекающих из распределения науки по ящичкам, авторы, чаще всего путешественники, не пренебрегали временем, застывшим иной раз в скате крыши, в выгнутой рукоятке плуга, в жесте и пословице. Репортёр, социолог и историк могли тогда сосуществовать в одном человеке, пока не разошлись их пути — с ущербом для каждого. Теперь некоторые афоризмы о сосуществовании народов коробят нас, когда пробуют ухватить какую-то правду, неуловимую разумом. Димитрий Мережковский сказал одному из польских собеседников: «Россия — женственна, но никогда не имела мужа. Татары, цари и большевики только насиловали ее. Единственным мужем России могла бы быть Польша. Но Польша была слишком слаба». Трудно нам судить о справедливости или несправедливости такой мысли, но ничто не мешает распознать в ней, по крайней мере, отголосок не всегда глупых народных верований.

Наше знание не развивается равномерно, в одних областях идет вперед, в других топчется на месте или даже регрессирует. Современный страх перед обобщениями, касающимися социальных и территориальных особенностей, — стимул ценный, ибо охраняет от опасности попасть на службу людям, заинтересованным не столько в правде, сколько в подборе аргументов для политической борьбы. Только когда исчезнут поводы для этого страха, сможет ум, наученный следить за взаимозависимостью явлений, проникнуть в то, что ныне стыдливо обходится мудрецами, как тема для пересудов на захолустных постоянных дворах. Это время придет не раньше, чем оценка какой-либо цивилизации перестанет быть оружием против воспитанных ею человеческих существ, т. е. нескоро. Тогда, и не раньше, эмоциональный конфликт, возникший над Днестром, где решалась судьба России в соперничестве с соседями, и в наше время зани-

мающий только его непосредственных участников, станет увлекательной темой для исследователей.

Чеслав МИЛОШ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Многих ныне смущающая руссофобия Маркса распространилась не только на строй, но и на всю историю России. В этом он сходилась с западно-европейскими радикалами, с которыми сотрудничала польская эмиграция, оказывавшая значительное влияние на революционные круги. Двадцать одну статью Маркса и Энгельса о европейской политике опубликовали после второй мировой войны Paul Blackstock и Bert Hoselitz под названием. "The Russian Menace to Europe" (The Free Press, Glencoe, Illinois, 1952). Работа Маркса об истории России, задуманная автором, как вступление к обширному труду, появилась в Англии в 1850 г. Это была серия статей под названием "Revelations on the diplomatic history of the XVIII century". В 1899 году дочь Маркса опубликовала это исследование отдельной книжечкой, но не целиком, и только в 1954 г. Бенуа П. Гепнер опубликовал полный текст во французском переводе: Karl Marx, La Russie et l'Europe, première édition intégrale présentée avec une introduction "Marx et la puissance russe" par Benoît Hépner (Gallimard, 1954).

2) Что касается Кюстина, то гнев посольств Российской Империи, вызванный его «Письмами из России», был понятен: ни одна другая книга не получила такой известности и так не ранила русских патриотических чувств. Маркиз Астольф де Кюстин совершил путешествие по стране Николая Первого в 1839 году. Достаточно процитировать Кюстина, чтобы получить представление о «тяжелой наследственности» поляков, так как он на сто процентов сходится с польскими авторами 19-го века. Его произведение, прославшее в России отвратительным пасквилом, немало способствовало обострению анти-западной «травмы» у русских. И однако, французский писатель не служил ничьим махинациям, он просто вернулся из своего путешествия потрясенный и глубоко разочарованный самодержавным правлением, сторонником которого был первоначально. Следующие выдержки позволяют нам судить, насколько опасения руссофобов прошлого столетия были серьезны.

«У этого послушного народа влияние общественных учреждений на все классы населения так велико, и власть привычки так обуздывает характеры, что, кажется самая разнузданная месть еще подлежит у них, в какой-то мере, дисциплине. Рассчитанное убийство совершается ритмически. Люди умерщвляют людей истово, без гнева, без эмоций, без слов, в спокойствии более страшном, чем безумие ненависти. Стакиваются, ниспровергают, губят друг друга, ступают по живым телам, как механизмы, вращающиеся регулярно вокруг оси. Эта физическая нечувствительность, сохраняемая в самые бурные моменты, чудовищная смелость замысла и холод в исполнении, молчаливое бешенство, немой фанатизм, все это

вместе дает то, что можно назвать — тщательностью злодейства».

«Массовые ссылки целых деревень и округов. Население никогда не уверено, что останется там, где живет. В результате подобной системы человек, прикрепленный к земле, не имеет в своем рабстве даже того единого утешения, какое могло бы ему дать его состояние: постоянства, привычки, приязанности к своему месту. Адская комбинация движения и неволи. Одно слово господина вырывает человека, как дерево, с корнями из родной земли и переносит на другой конец света — на гибель или горе... Крестьянин, подверженный этим ураганам высшей власти, не любит больше своей хаты, единственного, что он мог бы еще любить. Жизнь ему постыла, и он не знает, каковы его обязанности, ибо надо дать человеку хоть подобие счастья, чтоб внушить ему понятие долга. Несчастье учит только лицемерию и бунту».

«Несчастливая страна, где угнетенные люди в каждом иностранце видят спасителя, потому что он представляет правду, явность высказываний и свободу в народе, лишенном всех этих благ». «Введите в России на 24 часа свободу печати, и вы ужаснетесь вещам, которые выйдут на явь».

«Есть вера в России. Но политическая вера не освобождает человеческий дух, наоборот, она его замыкает в узком кругу натуральных аффектов». «Эта политическая и национальная Церковь лишена духовной, как и сверхприродной жизни. Где не хватает независимости, там не хватает всего». «Петр Первый взял на совесть великую ответственность, когда забрал для себя и своих преемников последний остаток свободы, который оставался еще его несчастной Церкви. Он принял дело выше человеческих сил. С того времени стала невозможной ликвидация схизмы. Снова и снова повторяю: их революция будет тем страшнее, что совершится во имя религии. Русская политика растворила Церковь в государстве, смешала небо и землю. Кто видит Бога в своем владыке, ждет Рая из рук Цезаря».

«Я провел ночь, размышляя над великой проблемой относительности добродетелей и пороков. Я пришел к заключению, что в наше время недостаточно выяснен кардинальный пункт политической морали: какая часть заслуги или ответственности ложится на личность в ее действиях, и какая — на общество. Если венчают народ славой за великие дела его нескольких сынов, то он должен также разделить бесславие за преступления других своих сынов. В этом отношении древние нас превyšшали. Козел отпущения у евреев — показывает, до какой степени народ опасался солидарности с преступлением».

«Если бы вы сопровождали меня в этом путешествии, то открыли бы в глубине души русского народа опустошения, произведенные безграничным произволом власти. Это, прежде всего, — дикое равнодушие к святости обещаний, к правде чувств, к справедливости поступков. Это также ложь, торжествующая во всех проявлениях и обстоятельствах жизни».

«Общественная жизнь в этой стране стала постоянной конспирацией против правды. Ужасало меня единство действий этого правительства. Я наблюдал с дрожью молчаливое согласие начальников и управляемых, вместе ведущих войну против идей и даже фактов». «...Приукрашенная нужда — богатство русских. Видимость у них — все, и видимость лжет у них больше, чем где бы то ни было в мире».

«В России история — часть владений Двора. Это духовная собственность государя, как люди и земли — его материальная собственность. Ее держат на складе мебели вместе с сокровищами Империи и показывают из нее то, что находят нужным. Память о том, что происходило вчера, находится в руках Цезаря. Он меняет по своему усмотрению хроники и выделяет ежедневно своему народу историческую правду согласно с фикцией данного момента. Таким образом, Минин и Пожарский, герои забытые в течение двух столетий, были откопаны и вошли в моду во время наполеоновского вторжения. В этот момент правительство разрешило патриотический энтузиазм».

«Без средневековья, без старых воспоминаний, без католицизма, без эпохи рыцарства в прошлом, без уважения к обещаниям. Всегда греки упадка Византии, обученные формулам вежливости как китайцы, грубые или, по крайней мере, неделикатные как калмыки, грязные как лапландцы, прекрасные как ангелы, невежественные как дикари (за исключением женщин и нескольких дипломатов), сметливые как евреи, испытанные в интригах как вольноотпущенники, кротко-достойные в манерах как люди Востока, жестокие в своих чувствах как варвары, саркастические и презрительные с отчаяния, глумливые вдвойне — по природе и по чувству неполноценности, легкомысленные только на вид, — русские призваны вершать дела большой важности».

«Все они способны при случае к обостренному чувству такта, но никто не великодушен настолько, чтобы подняться выше изысканности. Они отбили у меня вкус к этому качеству, необходимому для каждого, кто хочет иметь с ними дело. Всегда настороже, неустанно следя за собой, — они кажутся мне существами, наиболее заслуживающими жалости на свете».

«Если русские не умеют быть человечными, то иногда они умеют подняться над человечностью. Они опровергают известную поговорку: могут превзойти то, с чем не могут сравниться». «Как мне уже часто приходилось повторять вам, новая римская империя глеет там в золе старой греческой. Этого долготерпения не объяснить одним страхом. Верьте моему инстинкту: тут страсть, которая знакома русским больше, чем какому бы то ни было народу со времен римлян: честолюбие. Честолюбие велит им посвятить все, абсолютно все, как это сделал Бонапарт, даже сам быт». «Без сомнения, если мерить величину цели размерами жертв, которые для нее приносятся, то этому народу надо предсказать владычество над миром...»

«Вид этого общества, все пружины которого натянуты, как в замке ружья, готового к выстрелу, страшит меня до головокружения...»

«Россия видит в лице Европы добычу, которую ей выдадут в руки, рано или поздно, наши внутренние раздоры... Она поощряет у нас анархию, в надежде получить выгоду от распада, который сама поддерживает, потому что он ей на руку: это история Польши, повторяемая в большом масштабе. Париж годами читает революционные газеты самого разного толка, оплачиваемые Россией. В Петербурге говорят, что Европа выбирает дорогу, некогда избранную Польшей. Она истощает свою энергию в бесплодном либерализме, тогда как мы могучи именно потому, что не свободны. Будем терпеливо нести ярмо, и пусть другие заплатят за наш позор».

«Либо Россия не исполнит своего предназначения, либо — Москва снова станет, как прежде, столицей Империи, ибо только в ней заключено зерно русской независимости и оригинальности. Там — корень дерева, и там оно должно принести плоды».

«Кремль, неоспоримо, порождение силы сверхчеловеческой, но это злоеющая сила. Слава в рабстве! Вот чего аллегорией является этот диавольский памятник, столь же необыкновенный в архитектуре, как видения св. Иоанна необыкновенны в поэзии: достойное место пребывания для фигур Апокалипсиса».

«Русские находят себе оправдание, думая, что образ правления, который они терпеливо переносят, благоприятен их честолюбивым ожиданиям. Всякая, однако, цель, которой нельзя достигнуть иначе, как подобными средствами, — дурная цель... Кто меня убедит, что надо укладывать пластами трупы на трупы этого людского стада, чтобы земля, через века такого удобрения, выдала поколения, достойные славы, обещанной Провидением славянам? Провидение запрещает делать мало зло, даже в надежде получить большое добро...»

Облака и голуби

В начале 1942 г. я получил письмо от нашего посла, который рекомендовал мне в Ташкенте войти в сношения с русским писателем Алексеем Толстым.

Прошлой зимой, в польском посольстве в Куйбышеве был устроен обед в честь автора «Петра Первого». Кроме хозяина дома, большого знатока Польши 16-го века, на этом обеде присутствовали несколько писателей и журналистов. Общая атмосфера этого приема была дружественна, и следовало поддержать эти отношения.

В этот период времени, по распространенному в советской России мнению, А. Толстой был самым крупным из русских современных писателей. Говорили, что роман «Петр Первый» расходуется в количестве одного миллиона экземпляров в год. В то время писатель работал над драмой, посвященной Ивану Грозному. Целью автора было не развенчание, а наоборот, возвеличение Грозного, которого он хотел вывести в виде благородной и трагической фигуры защитника народа и который, тем самым, являлся предвестником Сталина. Одновременно А. Толстой писал газетные статьи, представлявшие собой верное отражение официального патриотизма, задававшего тон всей прессе. В них превозносился героизм советской армии, народов Союза, величие Александра Невского, Кутузова и Суворова.

«Даже Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон, — проигрывали сражения. Суворов не проиграл ни одного сражения», — писал Толстой в 1942 году.

Эти статьи были написаны грубо, но неоспоримо талантливо и по стилю напоминали лубочные картинки.

Статьи были начинены подобными высказываниями:

«Русский народ добрый и любит доброту».

«Душа воина Красной Армии суровая и чистая».

Говорили, что Толстой друг Сталина и часто принят в Кремле. Говорили также, что он один из самых богатых людей в России, что он собирает коллекцию старинных

вещей. Во время занятия Вильно советскими войсками в 1939—40 гг. Толстой будто бы послал эмиссара для покупки погрёба лучшей гостиницы в этом городе.

Из того, что говорил Толстой на обеде в польском посольстве, и что было мне передано, у меня остались в памяти его два замечания о русской интеллигенции. Первое — подчеркивает его национализм:

« За редкими исключениями, русская до-революционная интеллигенция не пошла вместе с большевицкой революцией, и советская власть вынуждена была призвать на ее место еврейскую интеллигенцию. Теперь, — заявил с гордостью Толстой, — у нас наконец имеется **наша** собственная **русская** интеллигенция, нами сформированная. Именно поэтому пропорция евреев на командных постах теперь очень снизилась ».

На вопрос о том, что больше всего интересует советскую молодую интеллигенцию, Толстой, после минутного размышления ответил: « Достоевский ».

Достоевский не был под совершенным запретом, но на него косо смотрели. В то время как Л. Толстой, Чехов и Горький обязательно числились в каждой библиотеке, — произведения Достоевского можно было найти с трудом. Большевики не простили Достоевскому религиозной основы его романов, так же как противореволюционного настроения в « Бесах », « Записках из подполья » и прежде всего в « Дневнике писателя ». Толстой старался объяснить данный им ответ:

« Интересы молодой советской интеллигенции прежде всего устремлены в сторону психологических проблем. Они хотят узнать, что именно заключается в них самих. Таково новое поколение ».

Весною Толстой приехал снова, для того, чтобы обосноваться в Ташкенте. Я попросил генерала Андерса пригласить его в наш генеральный штаб. В это время генерал уезжал в Англию и поручил пригласить Толстого своему заместителю, генералу Шишко-Бохушу. Я не мог заводить связи с большевиками иначе, как через Соколовского, нашего ангела-хранителя из Н. К. В. Д., что затянуло дело. За это время я достал первый том « Петра Первого » и читал его в свободные минуты. По окончании работы, пользуясь относительной прохладой вечера, я забирался на холм над рекой. Кругом все было зелено. Молчаливые узбеки, босые, в вышитых яркими цветами тюбетейках, возились в своих фруктовых садах, слышно было журчание « арыков ».

Я смотрел на сверкающую зелень тополей, озаренных лучами заходящего солнца на фоне розовых облачных барашков, и читал книгу Толстого без увлечения. За этим богатым, насыщенным до удушливости стилем и за этой декоративной формой я не находил того, что меня всегда околдовывало в русской литературе: не только в произведениях Льва Толстого или Достоевского, но и Розанова, Блока, Белого и стольких других. В « Петре Первом » не было и следа того полета мысли, беспокойства и смелости дерзания, которое может доходить до безумия или до самоуничтожения: в романе Толстого я видел только тяжелый, сурово очерченный апофеоз России и « благополучие » автора, который отлично чувствовал себя в дикой и жестокой атмосфере России 17 века, близкой к той, в которой мы жили. Я закрывал книгу, с трудом прочитав одну главу, мне приходили на память стихи Белого, скорбные до святотатства:

Довольно, не жди, не надейся
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год.

Соколовский решил, что наш предполагаемый контакт с Толстым, представляет собою по меньшей мере историческое событие. Тот факт, что писатель лично знал Сталина, импонировал ему чрезвычайно. Он сопровождал меня во время моего первого посещения Толстого.

Писатель жил в центре города, в приятном белом доме, с большими окнами и высокими потолками. Дом был окружен тенистым садом. У Толстого был обширный кабинет, гостиная, в которой стоял Бехштейн, спальня, защищенная от солнца, и даже ванная.

Толстой принял нас в своем кабинете, в котором было много книг. На стенах ничего не было, кроме огромной маски монгольского бога, ярко выкрашенной, в богато-позолоченной и украшенной красной резьбой короне.

Толстой был плотный и широкоплечий. Он принял нас просто, с большой сердечностью. Его живые черные глаза щурились за черными роговыми очками. В его наружности все было внушительно и чувственно: большой рот и крупный нос. Своим могучим и напористым видом он напугал мне голову кабана, висевшую в доме моих родителей во время моего детства.

Толстой спросил, может ли он привести с собой жену, которая когда-то была в Париже и очень интересовалась Польшей.

Толстые посетили нас в мае. Я поехал за ними опять в сопровождении Соколовского, в великолепном «Зисе» генерала Андерса (личный подарок Сталина). По дороге Толстой с блестящим остроумием рассказывал нам о пути следования Александра Македонского через эту страну. Но больше всего говорил он на тему, занимавшую его в этот момент. Посредством нескольких примеров, Толстой старался разрушить немецкий тезис, согласно которому всяка наука имеет германский источник. Толстой приводил исторические аргументы, доказывающие творческую одаренность славян. За немцами он признавал только способность к разработке и компиляции.

«Немец не имеет будущего, у него квадратный ум; русский человек создан для будущего», — писал Толстой в одной из своих статей того времени.

Все, что говорил Толстой, даже манера как это было сказано, свидетельствовали о его необыкновенной жизненности. Та же жизненность проявлялась в этот вечер во всем: — в том, как он ел, говорил о политике, слушал стихи или смотрел наш фруктовый сад в цвету.

Генерал Шишко-Бохуш, принимавший гостей, прекрасно говорил по-русски и беседа текла свободно. Наступал вечер и становилось прехладней; мы пошли смотреть эскадрон, палатки которого были разбиты вдоль Куркульдюка. Затем мы сели за ужин. Толстой и генерал много говорили. Последний рассказывал о том, как он посетил Сталина, о своих впечатлениях об Англии; Толстой говорил о России, о Кремле, о Париже и даже о писателях эмигрантах (Бунине), с некоторым оттенком жалости. Жена Толстого, молодая и красивая певица (третья жена писателя), одетая в шелковое платье с цветами, танцевала с адъютантами (конечно, был оркестр) и восхищалась всем.

Соколовский был также в числе приглашенных. Он не покидал Толстого и упивался его словами. Я не уверен в том, что такое поведение не было следствием приказа следить за теми отношениями, которые возникнут между писателем и нами. Я, действительно, слышал о том, что Толстой купался в золоте, но при этом за ним следили, несмотря на то, что он дал достаточно красноречивые доказательства своей верности советскому режиму. Ведь во время процессов троцкистов, Эренбург и Толстой первыми подписали заявление советских писателей, требующих смертного приговора для своих прежних товарищей, фашистских собак, изменников своему народу.

Около полуночи, когда атмосфера сделалась совсем

дружеской, я принес поэмы Балинского и Слонимского, и стал их переводить с листа. Толстой пришел в восторг от «Варшавского Рождества», «Родины Шопена» и стихов, в которых говорилось о Париже и Франции. Он попросил меня сперва перевести их на русский язык, а затем медленно читать по-польски. Толстой слушал внимательно, смакуя стихи, наслаждаясь метафорами и звучанием слов. Он заставил несколько раз подряд повторить фразу: «Под небом, наполненным солнцем, облаками и голубями» и выразил вдруг намерение перевести и издать эти поэмы по-русски. Для этого он приглашал меня придти к нему, обещая познакомить меня с переводчиками и издателями.

В мае и июне я виделся несколько раз с Толстым в Ташкенте.

Однажды Толстой пригласил к себе двух польских генералов на «лукуллов пир» и угощал их туркестанскими винами, с необыкновенным вкусом и запахом, не имеющих ничего общего с обычным местным вином. Был подан шашлык, приправленный душистыми травами: повар-грузин готовил его на жаровне. На столе были удивительные овощи и сладкие блюда. Во время обеда провозглашались тосты — «на погибель немцам». Жена писателя пела красивым меццо-сопрано песни Мусоргского. На вечере присутствовал сын Толстого, ученик Ленинградской Консерватории, низкого роста и коренастый, очень похожий на отца по той страстной жизненности, которая всегда поражала у А. Толстого. Естественно и доверчиво юноша рассказывал нам о голоде и умирании Ленинграда (1942 г.), с сердечным беспокойством говорил о матери, оставшейся в осажденном городе. Перед своим отъездом, он устроил ей паяк в лучшей ленинградской столовой: столовой партийных работников.

На прощанье Толстой подарил мне свою книгу с надписью. Он писал, что скоро придет время, когда он придет ко мне в Польшу, в мое ателье, и мы будем вместе смотреть на летающих стрижей. Мы не могли вспомнить польского названия этих птиц, похожих на больших темных ласточек, с длинными крыльями, которые мелькают мимо окон в те дни, когда погода идет к дождю.

Самый интересный вечер, из тех, что я провел у Толстого, был посвящен проекту издания польских поэмов, написанных во время войны. В последнюю минуту что-то задержало Соколовского, поэтому я смог без всякого надзора провести длинный вечер у писателя. Толстой пригласил к себе только переводчиков и нескольких писателей, среди которых была Анна Ахматова. Я с ней познакомился. Тут

же находились известный издатель Тихонов, бывший другом Горького, очень скромно выглядевший, и сноха Горького. Около десяти часов вечера, мы все собрались вокруг стола, заставленного винами, отличным «кишмишем» и другими лакомствами.

Было решено поручить Тихонову издание одной книжки, состоящей из 3-х частей: сначала поэмы, написанные в Польше, оккупированной немцами, некоторые из этих поэм дошли до нас через Лондон, — вторую часть составляли стихи, написанные польскими эмигрантами и, наконец, поэтами, находящимися в польской армии в СССР. Так же, как на вечере в Янги-Юль, меня просили читать стихи, переводя их с листа.

Впечатление, произведенное этим чтением, и отклик на стихи русских, превзошли все мои ожидания. До сих пор, вспоминая, я вижу слезы в больших глазах молчаливой Ахматовой во время чтения последней строфы «Варшавского Рождества» Балинского.

И если уже надо дать ему жизнь
под тенью развалин Варшавы,
родив, брось его прямо на крест.

Впечатление от «Баллады двух свечей» и «Родины Шопена» Балинского, так же как от «Тревоги над Варшавой» Слонимского было огромное. Слушатели были потрясены. Меня заставили читать стихотворения подряд, не пропуская ни одного. И раньше мне случалось устно переводить эти самые стихи иностранцам, — особенно французам, — я пытался раскрыть им прелесть польской поэзии. Обычно такие попытки ничего не давали. Никогда еще не удавалось вызвать подобный отклик ответного трепета со стороны моих слушателей, как в этот момент у этой кучки русских интеллигентов.

Ахматова согласилась перевести «Рождество», хотя по ее словам, она никогда не переводила стихов и никогда не хотела быть переводчицей.

Толстой, негодуя, восклицал: «почему-то у нас стихи о родине пишут так холодно и официально».

В этот вечер я почувствовал пустоту, которая образовалась в России в области искусства после 25 лет «направленного» искусства. Я также дал себе отчет в том, какая была в те годы в России жажда подлинной поэзии. Великая русская поэтическая традиция, Державина и Пушкина, дошедшая до Блока. Маяковского и

Есенина, прервалась. Уцелевшие Ахматова и Пастернак представляли собой редкое исключение. В то время русско-польский контакт казался мне возможным. Он представлялся мне глубоким и бескорыстным, с большими возможностями в смысле взаимного проникновения обеих культур и в поэтическом общении позволявшем обмен стихами на двух языках с соблюдением малейших оттенков поэзии и ее звуков.

Толстой, смеясь, уверял, что в России никто ничего не знал о польской литературе: «Пшибышевский, да Пшибышевский...» Я назвал несколько поэтов XIX века, Словацкого и Норвида, и постарался по памяти перевести «Фатум»:

«Как дикий зверь Беда подходит к человеку
и смотрит на него в упор
и ждет...»

Толстой так увлекся стихотворением, что стал помогать мне переложить это стихотворение на русский язык, затем списал текст, чтобы сохранить его.

У меня были с собой письма Норвида. Я перевел одно письмо — от 1864, в котором Норвид пишет: «патриотизм это творческая сила, а не изолированность и сухость». Норвид говорит дальше, что «чувство национальности зависит от способности усвоения, а не от пуританской исключительности». Толстой пришел в восторг от этой мысли, и стал требовать, чтобы мы посвятили целый вечер Норvidу, поэту, нашедшему, наконец, настоящее определение чувству патриотизма.

Толстой, смеясь, стал вспоминать, что он начал пить из-за Пшибышевского, — трудно вообразить, говорил он, каким литературным событием был Пшибышевский в России во время моей молодости! — Издатель Тихонов подтвердил это, и со своей стороны рассказал, что когда-то видел Пшибышевского в Петербурге, в отдельном кабинете большого ресторана — Пшибышевский отлично играл Шопена на рояле, несмотря на то, что был вдрызг пьян и бредил: Шопен — Библия — Ницше. «Для нас, молодых, в то время рассуждать о Пшибышевском было верхом блаженства», — говорил Толстой.

В этот вечер мы все наперебой говорили о литературе, я старался показать, что в Польше есть много больше и крупнее, чем... Пшибышевский.

Стихи Ахматовой я читал очень давно. Мне было изве-

стно, что она была женой Гумилева, поэта, расстрелянного большевиками в 1921 году, и что ее сына, студента, сослали в 1938 году. Юноша учился в Москве на факультете Восточных языков и мечтал поехать в Центральную Азию. Никто не знал, по какой причине и куда он был сослан. До войны предполагали, что он находится в Норильске, позднее ходили слухи о том, что его видели в Бухте-Находке, по дороге в Колыму. Что делала эта женщина, мать приговоренного юноши в доме писателя, душой и телом преданного советскому режиму?

Мне передавали, что Сталину очень понравилось какое-то стихотворение Ахматовой, вследствие чего ее не только повсюду допускали, но еще и оказывали особое покровительство. В 1946 году Ахматова подверглась резким нападкам со стороны Центрального Комитета Коммунистической партии в лице Жданова, за то, что она «отказалась идти в ногу с народом». Но в 1942 году она еще находилась под верховным покровительством. Говорили, что Сталин послал самолет, чтобы увезти ее из осажденного, голодающего Ленинграда.

В тот вечер Ахматова сидела возле лампы, на ней было платье, очень простого покроя, вроде мешка или монашеской рясы. Слегка седеющие волосы были гладко причесаны и сдерживались цветным шарфом. Она наверно была прежде очень красивой, с правильными чертами, классическим овалом лица и огромными серыми глазами. Ахматова выпила немного вина, она говорила мало и каким-то странным полу-шутливым тоном, даже когда касалась очень печальных вещей.

Когда я кончил чтение польских поэтов, мы обратились к ней, чтобы она прочла нам что-нибудь свое. Она не заставила себя просить.

Анна Андреевна прочла несколько выбранных ею мест из «Поэмы о Ленинграде», еще не изданной. Я заметил, что все обращались с Ахматовой с большим вниманием, давая мне понять, что она очень большой поэт. В строфах, которые Ахматова нам продекламировала со странным напевом, не было ни оптимистической пропаганды, ни восхваления советской власти, ни «праведных и чистых советских героев», постоянно выводимых, даже в писаниях Толстого. Именно поэтому «Поэма о Ленинграде» была единственным русским произведением того времени, тронувшим меня, — на минуту оно вызвало во мне образ защиты героического города, разрушаемого и голодного.

Поэма Ахматовой начиналась с воспоминания молодости: сложные метафоры, *commedia dell'arte*, павлины, фиалки, клены с пожелтевшими листьями перед Шереметьевским дворцом — поэма кончалась картиной осажденного Ленинграда под бомбами, среди холода и голода.

Мне запомнилась одна строфа из поэмы Анны Ахматовой: осенью или весной, во время бомбардировки, маленький мальчик собирал и приносил ей «травинки», выросшие между камнями мостовой.

Мне очень хотелось узнать поближе эту женщину-поэта, встретиться с ней в более интимной обстановке и войти в тот мир, где она жила, но я не решился. Со мною уже был такой случай, мое посещение одной русской женщины, без Соколовского — имело для нее трагические последствия. У меня сохранилось воспоминание об Ахматовой, как о человеке совсем «особенном». С ней трудно было войти в контакт из-за ее странной манеры держаться, принятой ею нарочно, или, может быть, происходящей от того, что она была совсем «непохожей» на других. Мне казалось, что я нахожусь возле раненого человека, желающего скрыть эту рану и скрыться самой под этими искусственными манерами. Поэма Ахматовой (она прочла нам еще несколько других поэм) в моей памяти связалась с воспоминанием о русских символистах и местами с Рильке. Перед 1914 годом, Анна Ахматова жила в Париже. У нее были дружеские отношения с Модильяни. Много писем и рисунков этого художника, принадлежавших Ахматовой, погибли во время осады Ленинграда.

Вечер у Толстого затянулся до 3-х или 4-х часов утра. Мы долго прощались в саду под ветвями старых деревьев. Толстой был в ударе и на ступеньках крыльца рассказывал нам о до-революционных писателях. Вспоминая о Ремизове, Толстой мне сказал «я от него научился всему, что я только знаю о русском языке». Говорил также о Розанове, его страстном, телесном ощущении жизни, и его чувственности «старого Карамазова». В те годы Розанов говорил Толстому: «Люблю после русской бани проехаться на санях, и, в то время как мороз мне колет щеки, — отрывать от кисти и глотать сладкие виноградины». Толстой рассказывал образно и у него была замечательная память. Но, описывая Розанова, он показывал только одну его сторону, наиболее родственную самому Толстому. Казалось, что он не знал и его не интересовала трагическая раздвоенность Розанова, гениального писателя христианина, борovéhoся с христианством и умершего от лишений в

1919 году в Сергиевом Посаде у Троице-Сергиевского монастыря.

Мы распрощались, обещав друг другу непременно устроить в ближайшем будущем несколько таких вечеров. На рассвете я наконец дошел до пригорода, где услужливый еврей, сосланный из Польши в Ташкент, нашел для меня ночлег. Когда я вошел в комнату, где мне была приготовлена постель, в ней уже шумно храпели несколько человек.

Я думал о впечатлении, произведенном на слушателей чтением польских стихов. Чтобы ускорить их перевод и издание, я решил остаться еще на сутки в Ташкенте, и встретиться снова с русскими писателями.

Мне было позволено остановиться в комнате в лучшем отеле города, предоставленной в распоряжение главнокомандующего польской армией.

У меня было несколько коробок мясных консервов, настоящий чай и привезенный с собою сахар: по тогдашним ташкентским условиям, я был в состоянии задать пир.

Я пригласил к себе несколько человек, присутствовавших на вечере Толстого. Они должны были придти ко мне и привести друзей, желающих познакомиться с польской поэзией. В последнюю минуту моя затея сорвалась. Ахматова прислала сказать, что она больна. Яхонтов, артист, известный своим чтением стихов, живший в том же отеле, где я находился, должен был куда-то спешно отлучиться. От других приглашенных я получил извинения в том же роде. Я подозревал « дипломатическую болезнь » или, иначе говоря — решительное запрещение.

В тот вечер я сидел один в своей комнате. Ко мне вдруг вошла женщина. Она была в числе друзей Толстого, ей было сообщено, что у меня собираются для чтения стихов; очевидно приказ не являться на это собрание не успел дойти до нее. Высокая и стройная, с тонкими чертами лица, при всей своей грациозности, она поражала необыкновенной простотой и естественностью. Увидев, что никто не пришел на мое приглашение, она хотела тотчас же уйти. Я удержал ее. Мы уселись на узком каменном балконе. Он выходил на улицу, два старые тополя росли перед гостиницей. Мы провели вечер вдвоем.

Мне удалось еще раз пережить глубокий, как бы молниеносный, до конца правдивый контакт между двумя людьми, которые никогда прежде не встречались и, вероятно, больше уже в жизни не увидятся друг с другом — это встречалось мне не раз, особенно в России.

Я читал стихи для нее одной и при переводе их на русский язык чувствовал это проникновенное и замечательное восприятие.

Она ничего не говорила, только спрашивала и еще раз просила уточнить ей смысл, настаивая на звучании слов и их верной передаче по-русски. Наконец, она сказала: « Вы уже нашли способ выразить то, что вы пережили, . . . а что нашли мы? . . . ничего! ». Она замолчала и рот ее слегка дрожал. « Знаете, что стало с Ленинградом? Я оттуда, это мой родной город. Сегодня он представляет собою гору развалин. Вы представляете себе город, два миллиона жителей которого убиты или погибли от голода и холода? Я не знаю, куда мне деваться. Нашей молодой советской интеллигенции уже больше нет, особенно ленинградской. После войны с Финляндией не было семьи, в которой не был бы убит сын, или муж, или отец. Ленинградская область понесла всю тяжесть финской войны! Остальные убиты на немецком фронте; вся университетская молодежь была послана на фронт во время первых, ужасных месяцев немецкого наступления. . . Здесь, в Узбекистане мне все чуждо, но куда мне идти? Все близкие и дорогие мне люди моего поколения — погибли ».

Мы еще долго беседовали, как будто бы были давно знакомы. Потом простились на тесном, пыльном балкончике гостиницы.

На следующий день я вернулся в Янги-Юль.

Иосиф ЧАПСКИЙ

Ночные крики

Среди многих прочитанных мною книг о переживаниях заключенных в советских тюрьмах и лагерях, "Другой мир" Густава Герлинга произвел на меня наибольшее впечатление. Эта книга написана с редко встречающейся силой простого и живого описания. Совершенно невозможно подвергнуть сомнению правдивость его рассказа.

Годы 1940—42 Герлинг провел в тюрьме, потом в лагере принудительного труда под Архангельском. Большая часть книги посвящена описанию того, что он видел и перенес в лагере. К книге приложены письма выдающихся коммунистов, которые утверждают, что таких лагерей вообще не т. Авторы подобных писем, как и те, среди сочувствующих коммунизму, которые позволяют себе им верить, несут свою долю ответственности за те, почти невероятные преступления, которые творятся с миллионами несчастных мужчин и женщин, медленно убиваемых голодом и непосильной работой в арктическом холоде. Люди, сочувствующие коммунизму и не принимающие свидетельства таких книг, как "Другой мир" Герлинга, лишены человеческих чувств; если бы эти чувства были им в малейшей степени свойственны, они не отбрасывали бы так легко доказательства, а потрудились бы сколько-нибудь, чтобы с ними ознакомиться.

Как коммунисты, так и итлеровцы трагически нам продемонстрировали, что в большой части человечества заложены импульсы мучительства, при каждом случае проявляющийся во всей своей обнаженной чудовищности. Не думаю, однако, чтобы можно было это зло вылечить слепой ненавистью к его носителям. Это привело бы нас только к тому, что мы бы им уподобились. Как ни трудно, — надо, читая такую книгу, как эта, понять условия, которые превращают людей в чудовища, и отдать себе отчет в том, что не слепой ненавистью можно устранить это зло. Я не утверж-

даю, что понять значит простить; существуют вещи, которых я, со своей стороны, не могу простить. Но я утверждаю, что абсолютно необходимо понять, если мы хотим не допустить до распространения этого зла на всем свете..

Надеюсь, что книга Герлинга найдет широкий круг читателей и возбудит в них не бесполезную жажду мести, а великую жалость к мелким преступникам, почти такую же, как к их жертвам, — а также твердую волю понять и устранить источники жестокости в человеческой природе, разращенной дурными социальными системами. Независимо от этих общих соображений, читатель убедится, что эта книга увлекательно интересна и отличается психологическим проникновением.

Бертран РАССЕЛЬ

— Мы люди битые — говорили они — у нас отбитые внутренности, оттого и кричим по ночам.

ДОСТОЕВСКИЙ, « Записки из Мертвого Дома »

Несмотря на то, что свет в бараках горел с сумерек до рассвета, мы чувствовали очень ясно приближение ночи.

После работы и вечернего супа у заключенных было еще два-три часа отдыха. Проводили их различно: одни, сидя на нарах и свесив ноги, латали свою изношенную лагерную одежду, или писали письма на деревянных сундучках; другие выходили поведать знакомых; молодые шли к женскому барaku; стахановцы, имевшие право покупать в лагерьном ларьке, отправлялись проверить, не появилась ли случайно на пустых полках в темной камерке конская колбаса — единственный продукт, поступавший в лагере на продажу приблизительно раз в три месяца; больные собирались в амбулаторию, а бригадиры торопились выполнить « рабочие сведения » для нормировщика. Одно было общее во всех этих действиях: они, неуклюже и по своему, отображали жизнь на воле. Наблюдало со стороны они казались часто пляской теней, заимствующих жесты, движения и навыки из прошлой жизни, исполняющих некий ритуал, лишенный действительного содержания, от которого осталось одно подобие формы. Иногда можно было услышать, как заклю-

ченный говорил: « я после ужина всегда играл в шашки », а другой: « жена всегда жаловалась, что я каждый вечер, по гостям шляюсь . . . вот привычка и осталась на всю жизнь ». Эта комедия свободы, понятно, была подсознательной, но без нее жизнь в лагере стала бы невыносимой, и никто из тех, кто в силу инстинкта самосохранения этим путем защищался от безнадежности и отчаяния, не задумывался над тем, находится ли он в мире действительности или среди призраков воображения. Можно спорить, насколько эта манера держать себя была только естественной формой поведения для людей, большая часть жизни которых прошла на свободе, или искусственной реакцией самообороны заживо-похороненных, но одно не подлежит сомнению: не возможно иначе понять жизнь в неволе, как прилагая к ней меру, пусть искаженную и искривленную, свободы.

Это описание относится, впрочем, только к тем немногим заключенным, которые, погружаясь вместе с другими в трясину лагеря, пробовали как-то выбраться из ее цепкой глубины, отчаянно размахивая руками. Большинство, — подавляющее большинство, к которому принадлежал и я в начале и под конец пребывания в лагере, — если и сходили с нар, поев вечернего супу, то только для того, чтобы залить пустоту в желудке литром кипятку, стоявшего в боченке в углу барака. Процесс разложения принимал тут странные формы: лень и невольное отяжеление ускоряли смерть, а неестественное оживление отдаляло ее на какой-то неопределенный срок. Можно было быть уверенным, что заключенный, который тонул, не делая малейшего движения и, наоборот, еще лил в себя в припадке голодного безумия бесполезный балласт кипятку, пойдет в одну из ночей на дно как камень, и утренний рассвет выбросит на отмель нары его распухшее и чудовищно вздутое тело. Если смерть подобная разрыву чрезмерно надутого пузыря, обходила его, то он пух постепенно, потом на короткое время приходил в себя, чтобы, в конце-концов, лечь в « мертвецкой » рядом с такими же как он скелетами, обтянутыми кожей. Любопытно, что судьба заключенных, которые защищались от смерти некоторой, хоть бы минимальной, подвижностью, была прямо противоположной: несколько лет они сохраняли сравнительно хорошее физическое состояние, потом вдруг начинали резко пухнуть и умирали в большинстве случаев от голодного отека, когда усталое сердце уже не было в состоянии накачивать кровь в чересчур удлинившиеся артерии.

Так или иначе, в условиях жизни и труда, которые и бы-

ли уделом лагерных заключенных, самая скромная дисциплина труда требовала огромного усилия воли или особых искушений, которые, казалось, были сильнее смертельной усталости после одиннадцати часовой работы для голодных людей. Для большинства заключенных возвращение в зону и долгожданная возможность вытянуться на нарах были обманчивой, самоубийственной формой укрепления организма.

Вечером барак, с немногими пустовавшими местами, представлял особенное зрелище. На одних нарах заключенные лежали без движения, сняв только обувь, оставив без мысли глаза на соседях напротив, избегая пошевелиться рукой или ногой; на других собирались маленькие кучки разговаривавших полулежа, в беспорядочных позах, — они придавали бараку вид госпиталя, где даже в часы свободные от врачебных обходов, говорится только тихим шопотом; гости из других барачков, собирались главным образом у печки или на нарах своих знакомых и, будучи единственными вполне одетыми, выглядели как здоровые, посещающие больных.

Горящий непрерывно свет нескольких электрических лампочек заострял эту картину и придавал ей черты обычной реальности. Не было в ней ничего страшного, было спокойствие и облегчение, испарение усталости, печаль подневольной изоляции. Было в атмосфере барака утешительное впечатление « временного жилья ». Огонь в печке отражался матовыми рефlekсами в стеклах окошек, — белых изнутри, кристально-черных снаружи. Глядя со стороны дверей, можно было принять нагроможденное на нарах тряпье за брошенную в беспорядке постель, а онучи, сшившиеся на глиняной печке и на веревках, протянутых между поперечными балками потолка, за свежестыранное белье. Не вид барака был страшен. Страшен был вид его обитателей, когда от дверей шли вглубь и встречали по дороге взгляды, в которых тень смерти — как в госпиталях для неизлечимо-больных — уже подымалась для полета на крыльях ночи. Ибо заключенные, редко сходявшие с нар по возвращении в зону, имели отчетливое чувство приближающейся ночи и с ускоренным биением сердца считали минуты ожидания.

Помню, как в первый вечер по прибытии в лагерь, я на минуту еще вернулся из амбулатории в барак и остановился в изумлении пред выражением лица старика, который сидел, полураздетый, возле печки и железным прутом разгребал огонь. Морщинистые, дряблые щеки свисали над

вылинявшей метелкой бороды, открывая воспламененные и огромные глаза сумасшедшего. Трудно мне теперь передать их выражение, но и теперь не могу отрешиться от впечатления, что я смотрел в глаза живого мертвеца, глаза человека, который знал, что он давно умер, хотя его иссохшее сердце еще толкло в пустом мешке тела. Было в них не отчаяние близкой смерти, а безнадежность наперекор всему длящейся жизни. Хорошо говорить о надежде тем, кто ждет еще чего-то в будущем; но как внушить ее человеку слишком слабому, чтобы собственной рукой положить конец своим страданиям? Как убедить в этой единственной прерогативе вольной воли в неволе человека религиозного, для которого благословение смерти должно прийти, как величайший дар неба? Все кончено, все разбилось, осталась одна мучительная пытка жизни в пустоте, — но вот, эта рука, которой бы, казалось, следовало прекратить ненужное биение сердца, — бросает вдруг кочергу и как огненным мечом чертит широкое крестное знамение от морщинистого лба через заросшую грудь до складок живота, подвязанного тонким ремешком. Есть, в самом деле, что-то неразгаданное и потрясающее в жизни некоторых заключенных; точно они, живя последней надеждой, что безнадежность под конец убьет их, и замучивая себя в молчании этим нечеловеческим страданием, еще добывают из него малую искорку надежды, какую дает мысль о смерти. Их, религиозность — не религиозность верящих в мистическое спасение души, испытываемой тревожностями мира, а благодарность религии, обещающей вечный покой. Это религиозные самоубийцы, христовы смерти-поклонники, ждущие избавительного гроба, а не загробной жизни. Смерть в их воображении вырастает до размеров необманного высшего блага, которое одно достойно ожидания, когда все остальное изменило. Может быть, потому что они так надеются на ее благословенное обетование, легче понять их ненависть к жизни. Заключенные, с жутким блеском в мертвом взгляде, ненавидят себя и других только за то, что вопреки глубоко укрытой надежде еще живут. « Умереть нам надо » — часто я слышал из их уст — « Мы, человеческий навоз, должны умереть для своего добра и славы божьей ».

Позже я ближе познакомился с этим человеком. Старый горец-чеченец работал на базе по выборке картофеля. Один лишь раз, когда я подарил ему кусок соленой трески, он рассказал мне кое-что о себе, недоверчиво приглядываясь из-под мохнатых бровей взглядом, который в дневном свете

менялся, становясь из безумного диким. К остальным вокруг него, не исключая ближайших соседей по нарам, он относился враждебно.

Коллективизация лишила его небольшого хозяйства в предгорьях Кавказа — нескольких десятин земли и пастбища. Арестовали его в 1936 году, когда он отказался выдать мешок пшеницы, зарезал двух баранов из коллективного стада, доверенного его попечению, и закопал мясо в землю. Жену с тремя детьми сослали неизвестно куда, и он ничего больше не мог узнать о их судьбе. На следствии он наотрез отказался указать место, где спрятал пшеницу. Истязали его так, что еще в 1941 г. все тело его было в синяках, но, забрав себе в голову, что это единственная возможная для него месть, он так и не сказал ни слова. После одного из допросов его отнесли без сознания в камеру, — и несколько дней спустя, когда стало ясно, что он скорее умрет, чем скажет, где спрятал жалкий остаток своего бывшего имущества, — отправили на 15-летний срок сперва в Котлас, а с 1939 года в Каргополь.

— « Что мне остается » спрашивал он, « кроме смерти? Семьи у меня нет, в колхоз не пойду, стар я слишком, и гор никогда уж не увижу... Молюсь каждый день, чтоб скорей смерть пришла ».

Каждый вечер старый чеченец съедал свой суп, некоторое время разгребал железным прутом угли в печке, укрывая подчас раскрасневшееся лицо в жилистых ладонях, потом влезал обратно на нары и после короткой молитвы засыпал. И странное дело: именно он, « человек битый », « с отбитыми внутренностями », никогда не кричал по ночам; иногда кряхтел, поворачиваясь тяжело с боку на бок, иногда бредил сквозь сон повторяя шопотом о смерти и Боге...



Не о таких, как он, заключенных я думал, начиная писать эту главу. Я думал о тех, кто боится смерти, и в чьих глазах этот вечерний страх отражался, как страх пред ночью. Только под конец моего пребывания в лагере я научился понимать из каких чувств складывалась эта ежедневная агония ожидания.

Заключенный, возвращаясь после работы в зону, уверен был, что с каждым днем своего пребывания в лагере переживает целые годы здоровья и физической выносливости и приближается к смерти с быстротой, исключаяющей сознание умирания. Смерть в лагере — именно потому, что она грубо ломала закон времени, постоянно грозила, но пора-

жала внезапно и неожиданно, — принимая черты метафизической непредвиденности, по ту сторону течения жизни, нарушила ритм нашего биологического существования. Заключенный шел в амбулаторию, ему сообщали, что « у него ничего нет », но он чувствовал, что если и не болен чем-нибудь, имеющим определенное название и симптомы, то с ним неладно, он с трудом дышет, ходит под себя, плачет без всякого повода, оставаясь один, касается дрожащими руками сердца, стиснутого в клещах боли, спотыкается и падает на ровной дороге, страшно опухает, напрасно отгоняет мелькающие пред глазами огненные пятна. Против крайнего истощения организма нет, к сожалению, другого лекарства, кроме усиленного и улучшенного питания или продолжительного отдыха, но амбулатория не была кухней, а в « мертвецкую » посылали только больных неизлечимым пороком сердца, туберкулезом и пелагрой в последних стадиях, и острым авитаминозом, сопровождающимся нарывами на всем теле. Быть может, это было преувеличением, но каждый заключенный засыпал ежедневно с мыслью, что смерть застигнет его во сне именно этой ночью. Он боялся быть застигнутым, боялся умереть, не зная, когда и отчего умирает.

Другой причиной страха пред смертью, укрытой в галлюцинациях воображения, за черной завесой ночи, было то, что в нормальных условиях обыкновенно ослабляет ее пугающее навождение, — коллективность. « На миру и смерть красна », — но нас ошеломляло сознание что рядом лежат люди такие же беззащитные и подверженные удару исподтишка врага. Почему так было — не могу объяснить. Вероятно, разъединяла нас общая беспомощность. Можно, почувствовав вдруг у горла душащую руку смерти, звать на помощь людей здоровых, но как тронуть сердца, которые с глухим стуком ломаются отчаянно в ворота всходящего дня, — чтоб их не вспугнуть или парализовать внезапно напрасным криком ?

Дефо описывает в « Дневнике года чумы » людей, избегающих друг друга из страха перед чумой. Мы вели себя так же, хотя и без этого явного повода. Глядя на нас ночью в бараке, можно было почти поверить, что смерть заразна. Мы боялись заразить ею других, чувствуя уже в теле ее зачатки. Это была лишь игра марев, но так сильная и покоряющая, что с приходом ночи каждый заключенный затаивался на несколько часов в твердой скорлупе сна, как бы не желая даже чуть слышным вздохом выдать свое существование смерти, подкрадывающейся с соседней

нары. Каждый из нас поступал одинаково, и каждый, вероятно, с ужасом думал, что он сразу — и соучастник и жертва этого молчаливого сговора зачумленных. И трудно сказать, что причиняло нам большую боль : мысль, что никогда не пробудит нас из спасительной летаргии крик умирающих товарищей, или сознание, что и нашего призыва на помощь не услышит никто. Это был, наверное, самый разительный пример солидарности в эгоизме, какой дано мне было испытать в жизни. Никогда не говорилось об этом громко, но не было заключенного в бараке, который бы не вспоминал с горечью минут, когда, не шевелясь ни единым членом, он следил из-под прищуренных век, как выносили ночью трупы из барака.

Смерть в лагере была страшна также и своей анонимностью. Мы не знали, где хоронят умерших и составляется ли по смерти заключенного хотя бы самый краткий акт о кончине. Во время лежания в госпитале я дважды через окно видел за проволочной оградой сани, которыми вывозили трупы за зону. Они выезжали на дорогу к лесопилке, потом вдруг сворачивали влево, на запущенную дорожку, которую протоптали в прошлые годы первые бригады лесорубов, и скрывались за горизонтом, оторвавшись как сдунутое ветром пятнышко с белой скатерти снега, чтобы утонуть в бледно-голубой пелене леса. Здесь кончалось мое поле зрения, и здесь также замыкалась для нас всех непроницаемая граница между жизнью и смертью. Эта одинокая и грустная похоронная процессия вела, вероятно, к какой-нибудь заброшенной лесной поляне, местоположения которой не знал в лагере никто, кроме немого возницы. Мы пробовали не раз его расспросить, где расположено наше лагерное кладбище, но несчастный украинец только пожимал плечами, жалостно кивал головой и, давясь от усилия, добывал из стиснутого горла несколько нечленораздельных звуков. Те, кто понимал его лучше, говорили, что он указывает хату лесника, несколько лет тому назад построенную в месте, где кончалась первая лагерная дорога. Но это не казалось нам правдоподобным, хотя бы потому, что зимой никакая лопата не взяла бы там мерзлой земли, а летом размокшая поляна трескалась как нагретый солнцем каштан, все глубже втягивая в болотную топь развалившийся домик, обнаженные корни деревьев и деревянный настил пути.

Мысль о том, что никто никогда не дознается ни о смерти их, ни о месте погребения, была для заключенных одной из самых жестоких душевных пыток. Можно не быть человеком религиозным, не верить в загробную жизнь, но

трудно помириться с мыслью, что навеки исчезнет единый материальный след, закрепляющий минувшую жизнь в человеческой памяти. Этот род страха пред смертью или, лучше сказать, пред абсолютным уничтожением, с течением времени претворялся у некоторых заключенных в неотступное наводнение. Заключенные потихоньку заключали договоры друг с другом, налагавшие на того из участников, который уцелеет, обязанность уведомить семьи погибших о дате смерти и приблизительном месте погребения; на стенах бараков выцарапывали в штукатурке фамилии, против которых соседи позже должны были поставить крестик и дату; каждый старался писать семье в регулярных промежутках времени, чтобы внезапный перерыв в корреспонденции мог послужить указанием приблизительного дня смерти. Все это, однако, не было в состоянии подавить нашего беспокойства при мысли, что советский лагерь лишал миллионы своих жертв единственной привилегии, которая полагается смерти — явности — и единственного стремления, какое подсознательно чувствует каждый человек — продолжить свою жизнь в памяти других.

Вечером наши разговоры на нарах достигали горячего напряжения в прощальном шепоте, и два или три часа позже погасали, тут и там еще шипя, как залитая водой раскаленная угольная пыль. Потом запоздавший обитатель барака, проходя между нарами, видел только на себе переkreшивающиеся взгляды лежащих. Все утихало, но сон еще долго не приходил к заключенным. Несколько молилось, сидя на наре, опершись локтями на легко подтянутые колени и склонив лицо в сплетенные ладони. Другие лежали без движения, подложив руки под голову и в молчании глядя в лица лежащих противних товарищей. Бесформенные скопления человеческих тел и лохмотьев по углам барака расползались по нарам, как песочные дюны, исчербленные равномерным отливом морских волн. Тускло мерцали электрические лампочки в клубах махорочного дыма, и потухающие поленья тлели все слабее в печке, попеременно мигая то красным, то черным отблеском. За окном была ночь, белая от мороза и расплюснутая на стекле ледяными цветами, скользкие доски мостков трещали под ногой последних проходивших. Напрягая слух, можно было уловить в ночной тиши далекий лай собак и лязг буферов на ерцевском вокзале. Лагерь медленно погружался в сон. Около полуночи раздавался уже первый храп, а вслед за ним с присвистом стонущие звуки. Звуки крепили, нарастали, превращались почти в протяжный вой, прерываемый сухим

рыданьем. Кто-то вдруг вскрикивал резко, кто-то защищался пред неизвестным нападением — садился на наре, обводя кругом мутным, невидящим взглядом, и тотчас же, отрезав, ложился обратно на свое место с тяжким, душераздирающим вздохом. Довольно было проснуться после полуночи, чтобы очутиться — как в центре поднимающейся бури — в хаосе беспорядочного сонного бреда, беспамятных выкриков, где имя Бога мешалось с именами напрасно призываемых родных, спазматического плача и отчаянных стонов. Заключенные металась во сне, хватались за сердце, бились телами, встряхиваемыми плачем, о твердое ложе на наре, заслонялись широко распростертыми ладонями, монотонно повторяли свое «помилуй». Один-единственный Димка сидел невозмутимо у параши и, опершись руками о вытянутую деревяшку протеза, равнодушно созерцал клубок тел, замкнутый в западне ночи, выцветшими глазами, где давно уже сухим пламенем боли выжгло последние слезы.

Наш барак выплывал в безлунное море темноты, и, как корабль-привидение, каждую ночь преследуемый смертью, уходил, неся под палубой спящий экипаж осужденных.

Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ

List do Borysa Pasternaka

I.

Liść porzeczek dłonią włochatą,
mgła na rzece wleczе się złotym miodem.
W gęstej mazi spiekoty grzęźnie lato,
każdym mięśniem przybliża nie pogodę;
czarna ziemia ciężko dyszy: — Dość mi!
Niech w tej ciszy krok płomiennych gości,
sine gromy niech spadną na wodę!

Prorok Eliasz w mrocznej wysokości
kopytami ognia wichry zmaça
i opada groza gorejąca
zgarniać srebro ulewy niewodem.

Później niebo za deszczem na oścież,
dreszcz w leszczynach od kropel tysiąca;
prześwielone, malutkie chrabąszcze
popłatały się, trzepocąc, z gąszczem,
każdy skrzydłem o słońce potrąca.

Teraz wyjść i burzy się odwdzięczyć.
Teraz patrzeć, jak niebo kłęczy
między chmurą i borem
siedmiokrotnym rozszczepione kolorem —
iść po deszczu, po polu, po tęczy...

Krzak się trzęsie i woła: — Gore! —
jasny świecznik nad ziemskim ugorem
ostatecznych
ze szczęściem zaręczyn.

Уж занесён багряный молот,
деревья топчутся, уходят вспять —
и воздух молнией расколот,
и звёзд немых полярный холод,
и над землёй в смятеньи полуголой
вихрь на дыбы срывается опять.

Ггозы из недр веков железных
уж не замаять, не обуздать —
и грохот глыб из потрясённой бездны,
пока над мглой тропинок непроезжих
не встанет солнца благодать.

И вот уходишь, ты — нездешний,
ты с бури встал — и снова сам —
а за тобой разливом вешним
земля стремится к небесам.

Перешагнувши день позавчерашний,
до нерушивых вознесён высот,
с улыбкой смотришь:

молодые пашни
зовут, гремя, весны переворот.

II.

Ku spokojnym idziesz zaręczynom,
wzdłuż rokin, ponad rzeczny wiszar.
Syci wzrok zieloność i siność,
szumi w uszach wezbrana cisza —
najważniejsze, coś w swym życiu usłyszał.
I nad ciszą, w szczęście uniesioną
przelatuje milcząca wichura
i twój cień popieleje na chmurach,
jak i one, żywym ogniem płonąć.

W kadzidlany dymie stoi brzeźniak,
grzmia organy, wieją skrzydła olbrzymie.
Z dała echo kroki przedrzeźnia,
skrzeczą kawki, przekręcają czyjeś imię.
Coraz wyżej, po szczeblach zorzy,
aż się dom wiekuisty otworzy
i zaprosi i w gościnę przyjmie.

Zakwitają kolce szarym cierniom,
drogowskazy na kamiennych urwiskach.
Przewalają się dalekie gromy, błyska,
noc obleka się srebrem i czernią,
noc przepływa po struchlałych łądach.
Ale śmiało jej w oczy zagłada
ten, co starą zachować mógł wierność.

Spojrzyj : zwalnia krok pod zawieruchą
cień wędrowny cichego wielbłąda,
kornie wchodzi w mrok —
w igielne ucho.

Gips się kruszy na doczesnych sądach,
zatrząskują się wargi na głucho.



Тучи чёрные мчатся от месяца,
мелкой дрожью трясётся орешник,
словно ведьмы гуляют и бесятся,
чертят призывая и леших.
— Ты, помилуй, Отче, многогрешных !
Богохульных слов околесица
расцвела поцелуем Иудиным ...
Спотыкались о горячий камень,
не сумели в пурге и буране
донести драгоценной посудыны.

Волчий вой, смех филиный и заячий,
на дороге топь по колени.
Ты уходишь, глаза зажимаючи,
от проклятий и от унижений.
Но с небес голубиная стая
и на встречу, багранцем сверкая,
золотистые тянутся тени.

Пёсей сворой настагает погоня
и зверьём лесные чащи.
Тихо шепчешь с ладонкой в ладонях :
« Не убойся ... от стрелы летящая ... »

III.

W świat rzucony, ledwieś oczy ze snu
w lęku przetań, a już drugi sen straszy.
Zawsze nie tak, nie do rytmu maszyn,
jakby mógł iść ich krokiem poeta bolesny,
co przed tłumem w gąszcz wieczności się zaszył !
Patrzy z góry, a węże na dnie,
w dzikiej puszczy czyhają zapadnie,
każde słowo ostateczną ceną ...

Usłysz, bywaj pochyl się nad nim,
litościwa Mario Magdaleno !

Śnieżne wichry naprzeciw wieją,
gniewnym dziejom usta nie ucichły.
Nie ustąpisz ni kroku nikczemnym epopejom,
dobrze wiedząc, że wyrok im rychły.
Ziemia się zatrząsie pod stopami,
zaczną padać na przemian, słońce krew zapłami,
bezdna głucha i noc nieprzejezdna —
i mocarzom na nic się nie zda
miecz i czarny na szafocie aksamit.

Zachód purpurą ociekł,
ptaki konają w przelocie,
anatema płonie nad nami.

Teraz mówisz : — Znak swój w sercu zatnę !
Będę smolił starannie tratwę,
mocniej wiosła osadzał w zaczepach.
Zagle moje, na słońcu szkarłatne,
wierny rudel, kotew i czerpak ... !

Blask na strunach, kłosa na sierpach,
łuna w chmur rozbieganych tabunach.
Rozrzuciłeś się w czerwcach i sierpniach,
już nieważne, czyś kochał i cierpiał,
jak klątwa z rąk mrocznego trybuna
przysypała twój dom ...

Rzeki ognia wiekuiste
wolno niosą i spaliłeś się wszystek.

Już należysz do świata, już ludzka gromada
może ufnie iść po twoich śladach,

zbierać na nich
koniczyny czterolistne.



Земля кружится в чёрном урагане,
среди пустынь развалины святынь.
Зачем твой крик? Ведь каждый голос вянет,
в молчанья утопая океане,
а жизнь — немое прозябанье
и лавры горше чем полынь.

Последний луч давно ушел за грани
минувших лет. И ночь сплывает с гор.
И песнь звучит: потомкам завещанье,
а современности — жестокий приговор.

Рапластанный средь туч язык кровавый,
незримый рокот затаённых сил.
Волнуется разбуженная гавань
и серафимы вихрем горькой славы
закаливают мускулы ветрил.

У вод свинцовых крепкий плот
и мачты точно сруб горячий.
И зоркий кормчий твой корабль ведёт
всё с круч на кручи.

IV.

Mrok w powiewach lekkich piór, w szelestach,
z gęstwy drzewa gwiazd ciężkie owoce.
Wywyższony nad skalny Dagestan,
w dzwony dolin lawinami łomocesz.
I przechodzą kaukaskie noce
nad cmentarną, zapomnianą płytą;
tylko garną się ku cichnącym kopytom
stromie ścieżki, całe w krwawych rdestach.

Patrzysz: Cień z twarzą mgłami okryta,
skrzydła na krzyż, skroń płomieniem zryta,
poszarpana wichrami, w sinych bliznach...
Przerzucacie się słów zduszonych gromem,
przemijają widziadła niewidome —
wspólna gwiazda i błyskawic ojcowizna.

Skrzydła osmalone, dłonie w krzyż złożone,
on cię znał
i do ciebie się przyzna.

W konstelacyj magicznych tyglach
stygnie metal w kształt niepowtarzalny.
Księżyc drga, jak busoli igła,
w silne żagle urastają skrzydła,
odrywając się od kotwic skalnych.
Płyną łodzie i szkuty pod prąd ciemnych dziejów,
srebrne światła jarzą się na nich...

Schodzi z gór rozkuty Prometeusz
kornie pukać
do bram Ghetsemani.



Эта ноша тебе по плечам,
эти крылья над бурей недаром.
Сколько раз поздней ночью ты небо встречал
озарённое мрачным пожаром!

Простирались с далёких ущелий
рук исхлётанных утлые плети.
На вершинах костры станковые горели,
ветер бил по намеченной цели
в иступлённом привете.

Но до сердца дорваться не смог,
опалить твоих крыльев не смея.
И гудели овраги и плакал поток
под растерзанный стон Прометея.

Уходящему в след
загремел трубный клич лебединый,
мрачно реяли дебри и медлил рассвет
над мятежной долиной...

Не печалься: — Вернёшься лавиной!

Иосиф ЛОБОВСКИЙ

Суд идет

ПРЕДИСЛОВИЕ

Об авторе рассказа "Суд идет", избравшем псевдоним Абрам Терц, известно нам только то, что он — молодой советский писатель. Его новелла (точнее, небольшая повесть) попала в рукописи в Париж и впервые была опубликована в польском переводе издательством ежемесячника "Kultura". Теперь мы печатаем оригинал рукописи.

Самый факт опубликования за границей произведения русского писателя, которое в самой России не имело бы шансов увидеть свет, побуждает нас отнестись к нему благожелательно и внимательно. А. Терц заслуживает особого внимания по двум причинам: прежде всего это писатель молодой, и поэтому, в известной степени, он отвечает на наш вопрос о том, как через болезнь соцреализма прошло поколение, воспитавшееся почти целиком под его влиянием; во вторых, "Суд идет" имеет много черт, свидетельствующих о несомненном литературном таланте его автора.

В первую минуту, по прочтении короткого пролога повести, трудно отделаться от навязчивой ассоциации. Где-то встречался нам этот одинокий человек, захваченный колесом Совершенного Строя, озирающий как на ладони Большой Город со зданиями Храмов и Министерств, и сквозь прозрачную стеклу комнаты как на ладони видимый Властелину с бриллиантовой простертой рукой и гремящим голосом, — человек тем более ничтожный, чем могучей и грозней Сила, бросающая его на колени, преисполняющая трепетом страха и восхищения, уничтожающая в анонимности. Разумеется: в орвелловском "1984" и в повести Замятина "Мы" (что почти одно и то же, принимая во внимание бесспорное влияние Замятина на Орвелла). Но у молодого советского автора это только быстрый, условный опознавательный знак, и в дальнейшем ходе

повести он появится еще только раз в беседе "двух в штатском" о "мыслескопе" и выуживании из канализационных труб бумажек, записанных жильцами коммунальных квартир. Создается впечатление, что Терц воспользовался этой рамкой, заимствованной из, уже классической, утопии тоталитаризма, только затем, чтобы оттенить иное измерение помещенной в ней картины. Этой картиной является нарисованная в стиле реалистического гротеска философская иллюстрация к теме "соцреализма".

Повесть Терца следует читать одновременно с превосходным очерком советского Анонима "Что такое социалистический реализм", тоже изданным "Культурой". Тогда станет ясно, что главная проблема, занимающая умы молодых советских писателей-интеллектуалистов, это — сведение счетов, в плане философском, психологическом и художественном, с официальной коммунистической эстетикой. Особое внимание посвящает Аноним обязательной для всех правдивых "соцреалистов" "телеологии" коммунизма.

Читатель повести Терца сразу заметит, как она близка своим тоном (автор "Суд идет" тоже охотно прибегает к холодной иронии с едва ощущимой примесью горечи) и ходом мысли этим размышлениям. В начале, повидимому, все в ней живописует стройную целесообразность. Но в определенный момент начинают расползаться все швы и вылезает ватная подкладка, как в плохо-сшитом костюме: божество целесообразности неожиданно щерит зубы в глумливой гримасе. (Рассказчик под конец повести попадает на Колымку за то, что "показал положительных героев недостаточно всесторонне" и т. д.). Даже роман Карлинского с Мариной имеет свое символическое значение. — "Ну, что же," — говорит Марина, отдаваясь, наконец, после долгих оттяжек, пораженному внезапной импотенцией Карлинскому, — "вы достигли своей цели? что же вы медлите?" Приведенный капризным (можно бы сказать "целевраждебным") ходом событий на край гибели, прокурор Глобов напивается и крушит саблей мебель, но очутившись в темноте пред бюстом Властелина, чудом уцелевшим, моментально трезвеет и рапортует.

В новелле-буф А. Терца предан осмеянию телеологический характер советского общества и советского стиля в культуре и искусстве. В этой форме литературной композиции (к сожалению, редко теперь встречающейся), больше чем материал интересует писателя внутренняя проблема самой литературы. Философская параболка на тему коммунистической телеологии кончается сценой, едва ли не лучшей во всей

повести. где трое заключенных лагерников на Колыме ведут разговор в перерыве работы, а бедный Рабинович размышляет над исторической двусмысленностью дилеммы "средства и цель"; и наконец падает меткое, как последний удар рапиры, последнее слово — великолепное в своей иронической латиндарности, — и вся тройка, призванная к порядку конвойным, прервав философические парения, согласно хватает за лопаты.

Это еще не все. Анонимный автор очерка о социалистическом реализме делает поразительно верное и проникновенное открытие, что революция должна была после первоначального романтического периода бури и натиска отступить вспять, к веку державинских од. Та же мысль, по своему, в скрытой форме, присутствует в повести Терца. Кто почувствует стиль писателя, — не манеру построения фраз, а глубже укрытый, в мелких подробностях и модуляции голоса рассказчика, стиль, — тот не сможет не заметить особенной атмосферы этого повествования, какого-то тошнотворного советского неоклассицизма. Как если бы автор, в силу своего таланта тяготеющий к гротеску, то и дело подставлял надутую и самоуверенной Харе Соцреализма кривое зеркало, оправленное в раму из неоклассических, разукрашенных дешевой позолотой, колонок...

Мы имели право надеяться, что со смертью Властелина поколеблется владычество стиля, который он навязал искусству Империи. Но даже в самых смелых ожиданиях не снилось нам, что молодые советские писатели, вернув способность речи, уже в первой стадии своего выздоровления покажут нам этот стиль — лежащим в развалинах.

Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ

ПРОЛОГ

Когда не хватало сил, я влезал на подоконник, высовывал голову в узкую форточку. Внизу шлепали калоши, детскими голосами кричали кошки. Несколько минут я висел над городом, глотая сырой воздух. Потом прыгивал на пол и закуривал новую папиросу. Так создавалась эта повесть.

Стука я не расслышал. Двое в штатском стояли на пороге. Скромные и задумчивые, они были похожи друг на друга, как близнецы.

Один осмотрел мои карманы. Листочки, разбросанные по столу, он собрал аккуратно в стопку и, послунявив пальцы, насчитал семь бумажек. Должно быть, для цензуры он провел ладонью по первой странице, сгребая буквы и знаки препинания. Взмах руки — и на голой бумаге сиротливо копошилась лиловая кучка. Молодой человек ссыпал ее в карман пиджака.

Одна буква — кажется «з», — шевеля хвостиком, быстро поползла прочь. Но ловкий молодой человек поймал ее, оторвал лапки и придавил ногтем.

Второй тем временем заносил в протокол все детали моей интимной жизни. Он выстукивал стены, рылся в белье и даже носки выворачивал наизнанку. Мне было стыдно, как на медицинском осмотре.

— Вы меня арестуете?

Двое в штатском застенчиво потупились и не отвечали. Я не чувствовал за собою вины, но понимал, что сверху виднее, и покорно ждал своей участи.

Когда все было кончено, один из них взглянул на часы: — Вам оказано доверие.

Стена моей комнаты стала светлеть и светлеть. Вот она сделалась совсем прозрачной. Как стекло. И я увидел Город.

Подобно коралловым рифам возвышались здания Храмов и Министерств. На шпилях многоэтажных строений росли ордена и бляхи, гербы и позументы. Лепные, литые, резные украшения, сплошь из настоящего золота, покрывали каменные громады. Это был гранит, одетый в кружево, железо-бетон, разрисованный букетами и вензелями, нержавеющей сталь, обмазанная для красоты кремом. Все говорило о богатстве людей, населяющих Великий Город.

А над домами, среди разодранных облаков, в красных лучах восходящего солнца, я увидел воздетую руку. В этом застывшем над землей кулаке, в этих толстых, налитых кровью пальцах была такая могучая, несокрушимая сила, что меня охватил сладкий трепет восторга. Зажмурив глаза, я упал на колени и услышал голос Хозяина. Он шел прямо с небес и звучал то как гневные раскаты артиллерийских орудий, то как нежное мурлыканье аэропланов. Двое в штатском замерли, вытянув руки по швам.

— Встань, смертный. Не отвращай взора от Божьей десницы. Куда бы ты ни скрылся, куда бы ни запрятался,

всюду настигнет она тебя, милосердная и карающая. Смотри!

От парящей в небе руки упала громадная тень. В том направлении, где она пролегла, дома и улицы раздвинулись. Город открылся, как пирог, разрезанный надвое. Виднелась его начинка: комфортабельные квартиры с людьми, спящими попарно и в одиночку. По-младенчески чмокали губами большие волосатые мужчины. Загадочно улыбались во сне их упитанные жены. Равномерное дыхание подымалось к розовеющему небу.

Только один человек не спал в этот утренний час. Он стоял у окна и смотрел на Город.

— Ты узнал его, сочинитель? Это он — твой герой, возлюбленный сын мой и верный слуга — Владимир.

Божественный баритон гудел у моего уха.

— Следуй за ним по пятам, не отходи ни на шаг. В минуту опасности телом своим защити. И возвеличь!

Будь пророком моим! Да воссияет свет, и содрогнутся враги от слова, сказанного тобой!

Голос умолк. Но стена моей комнаты оставалась прозрачной, как стекло. И кулак, застывший в небе, висел надо мною. Еще иступленной был его взмах, толстые пальцы побелели от напряжения. А человек все стоял у окна, глядя на спящий Город. Вот он застегнул мундир и поднял руку. Она казалась маленькой и слабой рядом с Божьей десницей. Но жест ее был столь же грозен и столь же прекрасен.

Г Л А В А I

Гражданин Рабинович С. Я., врач-гинеколог, произвел незаконный аборт. Перелистывая следственные материалы, Владимир Петрович Глобов брезгливо морщился. Работа была закончена, давно рассвело, и вдруг, напоследок, вылезает этот неприличный субъект — в потрепанной папке без номера, с фамилией из анекдота. Для должности городского прокурора — дело незаслуженно мелкое.

Ему уже приходилось как-то обвинять одного Рабиновича, а может быть — двух или трех. Разве их упомнишь? Что по своей мелкобуржуазной природе они враждебны социализму, — понимал теперь каждый школьник. Разумеется, бывали исключения. Илья Эренбург, например. Но зато с другой стороны — Троцкий, Радек, Зиновьев, Каменев, критики-космополиты... Какая-то врожденная склонность к предательству.

В сердце покалывало. Владимир Петрович расстегнул мундир и, скосив глаз, посмотрел на грудь — под левый сосок. Там, рядом с рубцом от кулацкой пули, виднелось синее сердце, пронзенное стрелой. Он погладал давнюю, с юных лет, татуировку. Сердце, проколотое стрелой, истекло бледногубой кровью. А другое — приятно ныло от усталости и забот.

Прежде чем отойти ко сну, прокурор постоял у окна, озирая город. Улицы были еще пусты. Но милиционер на перекрестке, как это заведено, точным взмахом руки управлял всем движением. По знаку дирижерской палочки невидимые толпы то застывали, как вкопанные, то стремительно бросались вперед.

Прокурор застегнулся на все пуговицы и поднял руку. Он чувствовал: «С нами Бог!» И думал: «Победа будет за нами.»



Дождь тек по лицу. Носки прилипали. Жду не больше пяти минут, — решил Карлинский и, не выдержав, пошел прочь.

— Куда же Вы, Юрий Михайлович?

Посреди мокрого сквера Марина была неправдоподобно суха.

— Вот они каковы — современные рыцари, — говорила Марина, властно и ласково улыбаясь. — Идите же скорее сюда!

И очертила рядом, под зонтиком, уютное сухое местечко.

— Добрый день, Марина Павловна. Я думал — Вы не придете. Уже милиционер стал беспокоиться: не собираюсь ли я взорвать памятник Пушкину, пользуясь ненастной погодой.

Марина смеялась:

— Во-первых, мне надо позвонить по телефону.

Дождь бил в асфальт и отскакивал. Площадь пузырилась и текла. Они бросились через нее, пересекая воду и ветер. Телефонная будка была островом в океане. Юрий незаметно вытер руки о талию своей спутницы.

— От Вас пахнет мокрой тряпкой, — возразила Марина. Он не успел обидеться — она уже набрала номер и произнесла: — Хэлло!

— Хэлло, — решительно повторила она певучее заграничное слово. На верхней ноте ее голос капризно затрепетал.

— Володя, это ты? Я плохо тебя слышу.

Чтобы лучше слышать, она придвинулась к Юрию. Он чувствовал душистую теплоту ее щеки.

— Говори громче! Что, что? Обедайте без меня. Я вернусь не скоро, поем у подруги.

Трубка беспомощно булькала. Это муж на том конце провода пытался протестовать. Тогда Юрий взял руку Марины и поцеловал. Он прощал ей все обиды — и размякшие от воды штилеты и то, что недотрога. Ее голос извивался, как змея.

— Вечером изволь итти на концерт. Без меня. Очень тебя прошу... Объясню после... Что ты говоришь? А-а-а... Я тебя тоже.

Она предавала его — глупого наивного мужа. Эй, ты, прокурор! — издевался Карлинский. Слышишь? Она говорит «тоже», чтобы не сказать «целую». Это потому, что я! я! стою рядом и трогаю ее ладонь.

— Чему Вы так радуетесь? — удивилась Марина, повесив трубку.

А Карлинский, казалось, и в самом деле собирался оправдать ее прогнозы:

— Марина Павловна, я давно хотел задать Вам один нескромный вопрос...

— Да, пожалуйста, хоть два, — разрешила она заранее усталым голосом.

Ты — дьявол, но я тебя перехитрю, — успел подумать Юрий. И вкрадчивым тоном спросил:

— Марина Павловна, Вы верите в коммунизм? ... И еще второй, с Вашего разрешения: Вы любите мужа?



— Чорт, уже прервали! — Владимир Петрович подышал немного в искусственную телефонную тишину. Марина не отзывалась. За стеной Сережа спрыгал немецкие глаголы.

— Сергей, поди сюда.

— Ты меня звал, отец?

— Прежде всего, здравствуй.

— Здравствуй, отец.

— Учишься? А я уже наработался. Всю ночь, до утра, как проклятый, сидел... Слушай, составь мне компанию. Выходной день как-никак. Поболтаем, потом на машине прокатимся. Вечером — на концерт махнем. Согласен?

— А Марина Павловна?

— Мать — у подруги. По рукам что ли?

Сережа не возражал.

— Хочу я спросить, Сергей... В среду, на родительском собрании много про тебя говорили. Хвалили, как полагается. Ну, а после учитель истории — как его? — Валериан...

— Валериан Валерианович.

— Вот-вот, он самый. Отозвал меня в сторонку и шепчет: «Обратите внимание, уважаемый Владимир Петрович. Ваш сын, знаете ли, задает разные неуместные вопросы и вообще — проявляет нездоровый интерес».

Прокурор помолчал и, не дождавшись ответа, — как бы между прочим — сказал:

— Ты это, Сергей, насчет баб что ли интересуешься?

Нестерпимый розовый свет ослепил Сережу. Будто девушка, — залюбовался Владимир Петрович. Он знал, что Сережа повинен в иного рода грехах, но в воспитательных целях — пусть сам признается — продолжал пытку:

— Да! О женщинах подумать иногда не вредно. Я в твои годы был хоть куда. Можно сказать — первый парень в деревне... Только зачем с преподавателем на такие темы дискутировать? Ты бы меня спросил...

— Да я не об этом вовсе, — взмолился Сережа. — Я совсем про другое спрашивал.

— Про другое?

— Ну, конечно же. По истории — вопросы. По философии тоже. Например, о войнах справедливых и несправедливых.

— О войнах? — удивился Владимир Петрович, все еще делая вид, что ничего не понимает. — Разве ты в будущем году на военную службу собираешься? А институт?

Сережа заторопился. О разных стыдных вещах он и не думал никогда. Учение про войны справедливые и несправедливые создано еще Марксом. Потом его развивал Ленин применительно к новой исторической обстановке. Подтверждая это, Сережа сбежал к себе и принес какие-то тетрадки, исписанные мелким почерком.

— А Валериан Валерианович говорит — Ермак вел справедливое покорение Сибири. И восстание Шамиля тоже правильно подавили...

— Да, — размышлял Владимир Петрович. — Без Сибири нам нельзя. И без Кавказа — нельзя. Нефть. Марганец. Народ-то что поет? «На тихом берегу Иртыша сидел Ермак, объятый думой». Слышал?

— Когда англичане Индию, они тоже...

— Ты эти сравнения брось, — заволновался Владимир

Петрович. — Англичане нам не указ. Где мы живем? В Англии что ли?

Он задумался на секунду: Англия, действительно, была ни к чему. Какая Англия?

— Но исторически...

— Исторически, исторически! Ты историю изучай, да о сегодняшнем дне помни. Мы что строим и уже построили? То-то. Значит, в конечном счете, понимаешь — в конечном! — правильно делали наши предки. Справедливо.

Отец был прав. Но и Шамиля жалко. Ведь он не знал, что в России революция произойдет. Хотел свой народ освободить, а после выяснилось — зря старался и даже для социализма вредно.

— А вот Юрий Михайлович по другому мне объяснял. Все дело, говорит, в том, на чью точку зрения встать. Для одних — справедливо, для других — наоборот. Где же тогда настоящая справедливость?

Опять этот Карлинский! — хотел выругаться Владимир Петрович, но сдержался.

— Ты, Сергей, поменьше этой софистикой увлекайся. Конечно, Юрий Михайлович — человек эрудированный и с Мариной Павловной хорошо знаком... Но все же он тебе не товарищ... Давай-ка выкладывай по порядку — какими еще вопросами ты учителей донимаешь?



— Все дело в том, дорогая Марина Павловна, на чью точку зрения встать. Попробуем встать на Вашу.

Покуривая вкусную сигаретку, Карлинский смотрел, как Марина кушает. Маленькая бесстыдная родинка, похожая на мушку, придавала ее лицу ослепительную белизну. Но вот уже обвисли складки щек, набрякла промежность у шеи и подбородка. Марина кусает пирожное, обнажив десны, так чтобы не запачкать на губах ярко накрашенную кожу.

— Марина Павловна!

Она медленно поворачивает голое лицо, показывая его со всех сторон.

— Мы же друзья, не правда ли? Потому я и позволяю себе говорить начистоту. Ведь не по любви... — Карлинский понизил голос, за соседним столиком двое молодых людей сосредоточенно лакали коньяк... — то есть не из любви к родине и коммунизму Вы пошли замуж? Вы, такая умная и такая красивая... Ведь Вы красивая?

— Красивая, — слегка посмеиваясь, подтвердила Марина.

— И умная?

— Люблю беседовать с Вами. Как будто ешь перец в томате. И кафе располагает к откровенности. Колорит!...

Юрий повел подбородком, приглашая оглядеться по сторонам. Молодой человек за соседним столиком упрямо твердил:

— Обожаю звон бокалов.

А его товарищ перекрестился куском ветчины, воздетым на вилку, проглотил и внушительным тоном добавил:

— Тело женщины — это амфора, наполненная вином.

— Не пора ли наполнить и наши амфоры? — спохватился Карлинский. — Только за что же нам выпить? За идеалы, о которых Вы так старательно умалчиваете?

Марина пожала плечами:

— Не умею разговаривать на отвлеченные темы, Юрий Михайлович.

— А на интимные?

— Тем более.

— Да-а-а. Вы склонны к загадкам. Каждая красивая женщина, между прочим, хочет казаться таинственной. Однако с Вами, Марина Павловна, опасно откровенничать. Вы все слушаете...

— Слушаю.

— Смотрите, запоминаете, а потом...

— Нет, я не все запоминаю, но понимаю я все.

— А я вот многого не понимаю.

— Например?

— Взять хотя бы Вашу красоту. Как Вы можете...

— Как я могу, умная и красивая, жить с моим мужем? Вы это хотели сказать?

Карлинский замер. Мягко ступая, оскалив мордочку, зверь шел прямо на него. Чернобурая лиса, песец, куница, о мой долгожданный серебристый соболь! Молодые люди за соседним столиком уже объяснялись в любви:

— А я, Витя, честно тебе признаюсь — за всю свою жизнь лягушки не обидел.

— Спасибо, Толя, что я встретил в тебе человека.



— Так ты, Сергей, по юридической части собираешься? Дельно задумал. На смену отцу, значит? Молодец! А вопросы и сомнения твои, по правде сказать, гроша ломаного не стоят. Праздные, незрелые разговоры ведешь со

своими Валерьянычем. Каша у тебя в голове. Зелен ты еще в большой политике разбираться.

Ты, к примеру, за бывших пленных вступаешься. А мне лучше тебя известно: трусы они и предатели. Или насчет зарплат. Что же ты министра к уборщице приравниаешь? Триста рублей в зубы и шагай вертеть государством?

Ты думаешь, глупее нас с тобою наверху сидят? Пока ты немецкие глаголы спрягаешь, да философии конспектируешь, там уже все известно, вычислено, рассчитано. И зачем глаголы твои нужны, и куда конспекты потребуются.

Ты одно пойми: главное — великая цель наша. Ею все и мерь — от Шамиля до Кореи. Этой целью любые средства освящены, все жертвы оправданы. Миллионы, подумай, миллионы ради нее погибли, последняя война чего стоит. А ты со всякими поправками лезешь — это несправедливо, то неправильно.

Я вот случай тебе расскажу, на всю жизнь его запомнил. Пришел приказ одному капитану: взять такую-то высоту и точка. Бойцы устали, разболтались, в смерть соваться никому не охота. А тут как раз дезертира приводят. Так, мол, и так, хотел улизнуть с поля боя. Капитан, не говоря худого слова, на глазах у всех, хлопнул его из пистолета, послал рапорт по начальству и — в атаку.

Получили мы рапорт, выясняем: как и что? Оказалось — вовсе и не дезертир это был, а просто другой офицер направил его куда-то по делу, а капитан не знал или запамятовал в горячке.

Подать сюда капитана! Самоуправство? Расстрел без суда и следствия? За такое — не поздоровится. Штрафная рота, как часы.

Докладывают: капитана больше нет, пал смертью храбрых.

Что же, перед солдатами мертвого командира позорить? Офицерские погоны сомнению подвергать? Может, не пристрели он этого дезертира, не поднял бы в атаку бойцов и приказа бы не выполнил?

Высоту-то, высоту взяли все-таки!

Я, признаться, тогда на случившееся с высоты той самой посмотрел. А теперь ты попробуй, посмотри. Ну, будущий прокурор, выноси свое справедливое решение.

— Я не хочу быть прокурором.

— В защитники метишь, по стопам Карлинского, в блистательную адвокатуру?

— Нет, я буду судьей.

— Сдаюсь, сдаюсь без боя, Марина Павловна. Я полностью согласен с Вами — цель оправдывает средства. И это тем более правильно, чем выше желанная цель.

Как это Вы замечательно выразились? — «мало родиться красивой, красоту нужно завоевывать». Bravo! Я не подозревал что за такой ренуаровской внешностью скрывается опытный полководец.

Знаете что, возьмите меня в свой арсенал. Красота требует поклонения, цель нуждается в средствах. Так пусть я буду недостойным средством Вашей всеоправдывающей красоты. Вы не пожалеете.

А теперь выпьем — за цель, за Ваше прекрасное лицо, за необходимый союз целей и средств!

Карлинский и Марина чокнулись.

— Вы воспользуетесь моим предложением?

— Не знаю. Может быть. Хватит об этом.

Марина была рассеяна. А Юрию все вспомнилось далекое, детское. Мудрый змий-искуситель вручал яблоко светловолосой Еве, нерасторопный Адам дремал под райским кустом. И для полноты картины он подвинул ей вазу.

— Попробуйте персик, Марина Павловна. Сладкое вино обычно закусывают фруктами.

Толстый человек по-ребячьи подпрыгивал, суетился, даже прихрамывал из вежливости. Он был гораздо старше и толще отца, но когда тот сбросил на пол калоши, человек вдруг нагнулся, прижал их к золотым галунам и забегал вокруг, приговаривая уменьшительными именами: — Калошки... номерочек... шляпочку-то пожалуйста...

Сережа и Владимир Петрович прошли в зал.

Ноты и смычки зашевелились. На сцену выплыл конферансье — неудавшийся вундеркинд, облысевший от музыкальных занятий. Он почти пропел, старательно выводя каждое слово, длинный титул знаменитого дирижера, и концерт начался.

Сережа увидел, как надул щеки рыжий, похожий на боксера, трубач. Скрипачи остервенело замахали руками.

Музыка потекла.

Она была с цветными разводами — как вода на улице, когда прольют керосин. Она шумела и рвалась со сцены — в зал. Сережа вспомнил, что снаружи тоже хлещет ливень и пожегился от удовольствия. Именно такой представлялась ему революция.

Буржуи тонули самым естественным образом. Пожилая дама в вечернем туалете, барахтаясь, ползла на колонну. Смыло. Ее муж-генерал плавал саженками, но тоже вскоре утонул. Уже самым музыкантам было по-шейку. Вытаращив глаза и сплевывая набегавшую волну, они судорожно пилили под водой, наугад.

Еще напор. Одиноко, верхом на стуле, промелькнул капельдинер. Волны бились о стены, лизали портреты великих композиторов. На поверхности плавали дамские сумочки и билеты. Время от времени из звонко-зеленой глубины, неспеша, как белый, незрелый арбуз, всплывала чья-то лысина и пропадала.

— Какая музыка! — воскликнул Владимир Петрович.

— Это тебе не Прокофьев с Хачатуряном. Классика.

Его тоже весьма занимало происшедшее наводнение. Но видел и понимал он больше, чем Сережа: музыка не текла сама по себе — ею управлял дирижер.

Он возводил дамбы, прочерчивал каналы и акведуки, укладывал взбалмошную стихию в геометрически точные русла. Дирижер руководил: по взмаху его руки одни потоки останавливались и замерзали, другие устремлялись вперед и крутили турбины.

Владимир Петрович незаметно перешел в первый ряд. Никогда раньше не сидел он так близко от дирижера и никогда не думал, что эта работа требует стольких усилий. Еще бы! Уследить и за флейтой и за барабаном и заставить всех играть одно и то же!

Пот бежал с него ручьями, щеки тряслись. И спина хрипло вздрагивала при всякой паузе. Издали он казался легким танцором, который пляшет не ногами, а руками. Но здесь, вблизи, это был мясник, что рубит туши и колет лед, выхаркивая с каждым ударом отрывистое густое дыханье.

А музыка становилась все шумнее и шумнее. Уже не водопады и реки — они давно замерзли — ледяные глыбы пришли в движение, словно в ледниковый период. Один выступ с грохотом наезжал на другой. Перемещались миры и пространства. Новый век из гранита и льда наступил.

— Антракт! — объявил звонким голосом молодежавый конферансье.

Г Л А В А П

Раздетая донуга, Марина делала гимнастику. В трюмо бесшумно прыгали розовые овалы. Ей было занятно следить за их веселой игрой.

Марина придвинулась. Ее отражение росло в размерах, оглядывая себя по частям. В целом — оно напоминало пропеллер. От узкой талии вверх разбегались упругие лопасти. Бедра и плечи уравнивали друг друга. А сбоку — от груди к ягодицам — изгибалась буква S: синусоида торса.

Взыскательно, по деловому Марина выверяла пропорции. Не отвисает ли зад, нет ли морщин на шее? Она бесцеремонно мяла груди, вертела голову, массировала живот. Зеркало служило ей верстаком, чертежной доской, мольбертом — рабочее место женщины, возмечтавшей о красоте. Она не прихорашивалась, не кокетничала. Она трудилась решительно и вдохновенно.

Сегодня, восемнадцатого сентября, Марине Павловне исполняется тридцать лет. Другие в столь бальзаковском возрасте кончают свою карьеру. Свадебная красotka, невзначай угодившая на обложку иллюстрированного журнала, к тридцати годам расплывается, как подогретый пломбир.

Женщины, похожие на кастрированных мужчин, гуляют по улицам и бульварам. Коротконогие, словно беременная такса, или голенастые, как страус, они прячут под платьем опухли и кровоподтеки, затягиваются в корсет, подшивают вату взамен грудей.

Марине к маскарадным костюмам прибегать незачем. Она сумеет быть изящной в любом положении — хоть на четвереньках, с высунутым языком. А вы попробуйте в таком виде сохранить достоинство и обаяние!

Она замерла перед зеркалом. Непристойная поза еще лучше подчеркивала изгибы ее спины. Стоять на четвереньках, с открытым ртом было как-то неловко. Но Марина удостоверилась: красоту ее тела и лица ничто не может нарушить.

У прочих женщин красота служит подсобным средством. Красивым легче выйти замуж, найти любовника. Одни хотят метать икру, оправдываясь материнскими чувствами. (Как во-время ей удалось увернуться от этой безвкусной развязки!) Другие находят непонятное удовольствие в ночной слюнявой возне. (Бедный Володичка, мне его просто жаль!). И никто не знает, что прекрасная женщина сама достойна быть целью. А все остальное — мужчины, деньги, наряды, квартиры, автомашины — это лишь средства, любые средства, служащие красоте.

Марина делает шаг в сторону — ее отражение ползет по стеклу и пропадает. На месте живота просвечивает ваза с цветами, а выше-груда коробок и гипсовый бюст. Марина

догадывается, что это муж, покуда она спала, прокрался к ней в комнату и воздвиг дворец из разных сюрпризов. Это уж его правило, он всегда покупает много и беспорядочно. Вон даже бюст Хозяина, не считая конфет, духов и прочих средств, нужных ее красоте.

— Зачем Вы здесь, уважаемый? — спрашивает Марина, не оборачиваясь. — Великим людям не полагается подсматривать за голыми дамами.

Она хочет закрепиться на скользкой зеркальной поверхности. Вопреки законам физики — навечно. Чтоб даже в ее отсутствии прекрасное отражение так и оставалось нетронутым. Добиться этого ей не легко.

А в коридоре уже давно скрипят половицы. Это супруг вздыхает под дверью, подглядывая в замочную скважину, как мальчишка, за утренним туалетом жены.

Марина Павловна стоит перед зеркалом, нагая, надменная. Не стыдась и не радуясь, она поворачивается в разные стороны, чтобы мужу за дверью было удобней смотреть. Она не возражает — пусть полюбуется ради праздника. Но ребенка от нее пусть лучше не ждет.

Потом неторопливо надевает халат и говорит: — Кто там? Войдите.

— Поздравляю тебя, Мариночка, с днем рождения.

Она целует его в щеку.

— Спасибо за подарки, Володя. Они все мне очень нравятся. Только вот эту вещь давай поставим в твоем кабинете. К моей комнате она чуточку не подходит: не тот стиль.



После первого тоста за здоровье дорогой новорожденной все накинудись на еду, и Карлинский смог, наконец, вплотную заняться Мариной. Примостившись подле нее слева (по правую руку, как полагается, сидел Владимир Петрович), он бросал колкие замечания в адрес гостей, чем весьма забавлял прекрасную хозяйку, вызывая зависть остальных мужчин.

— Политическая лояльность нашего собрания обеспечена, — кивнул Юрий в сторону следователя Скромных, давнего друга семьи Глобовых.

Марина была в ударе. Она смеялась остротам Карлинского, угощала ближайших соседей, подкладывала себе в тарелку наиболее лакомые куски, изучала туалеты дам, не пренебрегала и Владимиром Петровичем, время от времени касаясь коленом его ноги под столом, и легким движением ресниц управляла домработницей, следя за непрерывным конвейером вин, салатов и соусов. Потому все неослабно

чувствовали праздничное присутствие Марины, кушали, пили, говорили ради нее одной. И это было всем приятно, а ей — тоже.

— Обратите внимание, — нагнулся к ней Юрий, — с каким пылом этот хранитель госбезопасности расхваливает своего отпрыска. Все профессиональные тюремщики, по моим наблюдениям, нежно любят детей. Добро и зло уравновешены в природе...

Марина Павловна сочла нужным ответить:

— Вероятно, поэтому, Юрий Михайлович, адвокаты в домашнем кругу так жестоки и злы?

— Камешек в мой огород? Но какого гуманиста не выведет из себя это родительское сюсюканье? Можно подумать, здесь одни садисты и заплечных дел мастера.

Разговор, действительно, шел о детях.

— А где Сережа? — спросила жена следователя. И не успела Марина ответить, что ее пасынок вместе со школой уехал на уборку картофеля, как супруг Скромных уже затянул свою обычную арию: «А вот мой Боренька...» Все восхищались умом десятилетнего мальчика.

— Я пью за день рождения Вашей будущей дочери, Марина Павловна. За невесту моему Борису! — неожиданно заключил следователь.

Неужели она беременна? — подумал Юрий, но, взглянув на бесстрастное лицо Марины, успокоился: этот следователь готов спаривать еще не зачатых младенцев.

Владимир Петрович тоже был изумлен: ну и нюх у Аркадия Скромных — уже все знает! И чтобы не выдавать приятной тайны раньше срока, прокурор, позвонив ложечкой о бокал, взял слово:

— Хоть ты и старый следователь, Аркадий Гаврилыч, однако, улик у тебя нет, и дело временно прекратим за отсутствием состава преступления. Выпьем лучше за всех наших детей, за прочную семейную жизнь!

Гости повиновались.

— Что такое человек семейный? Это — серьезный человек, и в дружбе, и в работе, и в государственном смысле — надежный. Кто детьми обзаводится, тот хороший гражданин. Он о семье думает, о будущем, о потомках, на земле укорениться желает. Он весь на виду.

Глобов раскрыл ладонь, широкую, как тарелка, и, сжав ее в кулак, продолжал:

— Я лично сторонник многодетной семьи. Сам из такой вышел. Нас, Глобовых, по всему миру — как в лесу грибов. И стреляли нас, и резали, а вот не перевелось, не изничтожилось глобовское племя. Младший брат — на Дальнем Во-

стоке полковник, другой — на Каспии рыбным комбинатом орудует, сестра, в Ленинграде, в прошлом году диссертацию защитила . . .

Пальцы прокурора разгибались, начиная с мизинца. Вот и указательный. Это, по всей вероятности, был сам прокурор — прямой, крепкий, с отполированным ногтем на конце.

— И есть же люди — за бездетность агитируют! Вчера читали в газете? Неомальтузианство. Целый подвал. Очень оно распространено на Западе — это нео. И у нас кое-что в этом роде можно еще встретить. Мне в руки одно дело попало . . .

Прегибаясь через бутылки, Глобов зашептал следователю. Гости отвели глаза к еде, догадываясь — аборт.

Карлинский подавил внезапный приступ тошноты. Что-бы рассеяться, стал думать о Мальтусе. В каждой теории есть своя правда. Нельзя же размножаться до бесконечности? Заселим Сахару, Антарктику, а дальше куда? Вот тут и следует изобрести нечто универсальное.

Известно же — человеческий зародыш на какой-то ранней стадии уподобляется рыбе. Зачем же попусту гибнуть рыбным богатствам страны? В прекрасном будущем этих милых рыбок утилизируют. Осторожно изымут из материнского чрева и станут разводить в особых прудах, приучая к самостоятельности. Пускай себе обрастают чешуйками и плавниками под государственной охраной какого-нибудь глобовского собрата. Тут же, при абортарии — рыбозавод, консервы в огромном количестве. Кого в шпроты, кого в килечки — по национальному признаку. И все произойдет в согласии с марксизмом. Мы снова вернемся к людоедской закуске. Но не вспять, не к первобытному пожиранию себеподобных товарищей, а, так сказать, на более высокой и деликатной основе. Развиваясь по спирали . . .

Юрия уже не тошнило. Он был в восторге: не познать ли Марину Павловну с этой оригинальной идеей. Но куда он сомневался — все-таки дама — Марина сказала:

— Володя, что за секреты в обществе? Это не тактично. Кушай свою рыбу.

Зашипела пластинка. Простуженный тенор повел старинное, двадцатых годов, танго.

Был день осенний, с деревьев листья опадали,
В хрустальных астрах печаль усталая цвела.

Русский эмигрант из парижского бардака пел о неразделенной любви. И хотя хрустальных астр не бывает, всем стало не по себе, когда тенор с горестным изумлением воскликнул:

Ах, эти черные глаза!

— Ах, эти черные глаза, — подхватил на низкой ноте невидимый хор.

Меня пленили

— сокрушался белоэмигрант, и хор глухо роптал: — Меня пленили.

Их позабыть не в силах я,
Они горят передо мной.

Владимир Петрович бережно передвигал Марину меж танцующих пар. Автоматически, под гипнозом, она выбивала такт. Блаженное безволие кольхало ее. Озноб, словно минеральная вода, испускал пузырьки. Они взбегали вдоль позвоночника — к шее — по изыбшей коже затылка — до кончиков наэлектризованных волос.

Ах, эти черные глаза!
Кто вас полюбит,
Тот потеряет навсегда и счастье и покой.

— Ах, эти черные глаза, — простонала Марина.

Не глядя по сторонам, она знала, что все смотрят на нее и ею одной любят. Каждый мужчина здесь мечтал танцевать только с Мариной. И ей хотелось итти и итти без конца под эту песню о неразделенной любви, итти по всей земле, меняя страны, времена, партнеров, и, никого не любя, изнемогать от счастья, что все тебя любят и что тебе лучше всех.

— Сегодня я выбираю музыку и кавалеров! — объявила Марина, пуская пластинку еще раз. Она отплыла с Карлинским, лишь зацвели астры, каких не бывает на свете.

Их позабыть не в силах я,
Они горят передо мной

— подпевал Юрий в теплое ухо Марины.

Он сам не ждал, что его искушенную душу так растрогает бульварный романс. Но сколько ни зубоскалил Юрий над этой мещанской экзотикой, он не мог развеять ее утонченно-пошлого очарования.

В ананасовых рощах цветут хрустальные астры. У фешенебельных отелей, на фоне сплошных пейзажей фланируют взад и вперед прилично одетые мужчины при тросточках и золотых зубах. Симпатичные дамы в будуарах и — как это? — кулуарах строят куры. А вокруг саксофоны, чичисбеи, неглиже. Гондолы и гондоны. Гривуазно ныряя. В рюмке от сервиза пламенеет ликер. Петя + Тося = Любость. Лю-эс.

А Марина прильнула к нему, покорная и доверчивая. Будто она поняла, наконец, кто ее избранник. Будто не нужно ей никого-никого, кроме Юрия. И возможна в жизни — если не любовь, то хоть обыкновенная нежность.

Вот тут, посередине, Марина сменила партнера. По ее знаку подскочил следователь Скромных, заранее вихляя задом. Он увлек Марину в новый круговорот.

Владимир Петрович проводил насмешливым взглядом одинокую фигуру Карлинского и опять, делая вид, что курит, повернулся к танцующим.

На выгнутой шее — лицо. Оно застыло. А тело пульсирует в такт музыке, перебирает ногами. И спящее лицо покачивается. Будто лунатик, Марина идет по комнате. Вот она придвинулась к своему кавалеру, отступила, снова придвинулась. Лицо покачивается. Белое, строгое, как от другого туловища, оно не принимает участия в окружающей суетне. Переплетаются ноги, пыхтит очередной счастливец, нетерпеливо ждут своей минуты следующие мужчины. Но лицо Марины спокойно, точно она отсутствует, точно ей все равно, кому и когда достаться.

И эта мертвая неподвижность ее лица и эта длинная очередь к жертве, впавшей в беспамятство, вызывают уже не ревность, а ужас — перед насилием, что совершается в его доме, у всех на глазах, под музыку. Чтобы как-то остановить их — потерявших стыд и совесть людей, — прокурор подходит к извертывшемуся вконец патефону и будто бы ненароком, споткнувшись, опрокидывает его на пол.



Юрий не мог заснуть. Последнее время, по ночам, с ним бывало такое: вдруг он вспоминал, что должен

умереть, и начинал бояться. Особенно часто это случалось, когда он лежал на спине.

Жизни его не угрожала опасность и можно было надеяться, что он проживет еще лет двадцать пять, а то и все тридцать пять, если будет беречь свое здоровье и бросит курить. Но самая мысль о том, что через двадцать пять или даже через сорок лет ему предстоит умереть, была нестерпима. Это очень страшно, когда тебя нет, а другие еще существуют.

Гроб и могила его не пугали. Главное — что ничего не будет после смерти, ничего и никогда, на веки вечные. Если бы спровадили в ад, и то — лучше: пусть поджаривают на сковородке — все-таки какое-то самосознание остается.

Ему вспомнилось, как в детстве он завидовал слонам, которые живут 150 лет. А щуки, говорят, — 200. А когда умер отец, Юрий бился в истерике, и все думали, что ему жаль бедного папу, а он себя жалел, догадываясь о своей смерти, и потом долго расспрашивал всех про загробную жизнь в надежде, что она есть.

Зачем они отняли веру? Личное бессмертие заменили коммунизмом! Разве может быть какая-то цель у мыслящего человека, кроме себя самого?

Чувствуя, что он умирает и вот-вот совсем исчезнет, Юрий сел на кровати и зажег лампу. Он кашлянул и подумал, что т о г д а и кашлять уж не придется. Потом увлажненными пальцами потрогал стул, который останется (и ножки стула останутся!), в то время как Юрия уже не будет.

Рассказать об этой беде — некому. Всякий станет смеяться над тобой, а про себя думать: «я ведь тоже умру». Сочувствия не дождешься.

Был только один выход — самообман. К нему прибегают люди, отвлекая себя чем угодно от этой — сводящей с ума — пустоты. Кто занят политикой, как медведь Глобов, кто вроде Марины... Марина! Вот где нужно искать спасение! В этой женщине, самой красивой из всех женщин каких он знал.

Юрий привстал, вынул сигареты и закурил, чтобы лучше схватить скользящее из головы решение. И выпуская дым изо рта, чувствовал, что он жив, и курит, как полагается, и затягивается по-настоящему, и выпускает дым изо рта, как мертвые не могут. И радуясь этому, выпускал изо рта дым, и курил, и опять радовался.

Марина и впрямь была достойным занятием. Он сам,

задолго до этой ночи, интуитивно, как лошадь в бурю, выбрал верный путь. Он объявил себя средством, всего лишь средством ее красоты. Он восхищался и потакал, желал и раболепствовал. И не раз был унижен и брошен, как сегодня — во время танцев. Но только Юрий мог, положить руку на сердце, сказать, что сделал открытие, может быть, позначительней Архимеда.

Пусть точкой опоры послужит ему Марина! Эта недотрога, возомнившая себя целью мироздания, станет средством от бессонницы. А целью, целью будет он сам и его победа над нею. Он поразит Марину тем же оружием, применит любые средства, чтоб доказать свое превосходство.

— Боже, как унижительно будет Ваше паденье! Я уж позабочусь, поверьте моему скромному опыту!

Юрий свернулся калачиком и, предчувствуя, что сладко заснет, улыбнулся себе широко и умиротворенно, как давно никому не улыбался. Ему казалось что он будет жить долго-долго, что он всех переживет и, может быть, даже никогда не умрет. Но лампу он все же не выключал.



Пластинка была разбита, и вечер испорчен. Муж перешел границы ее терпения. Как только отклонялись последние гости, Марина объявила войну.

Владимир Петрович довольно успешно парировал первые удары, отметив, что порядочная женщина, танцуя танго, не позволит Карлинскому гладить себя по спине. Тогда она припомнила ему гипсовый бюст, и вульгарную речь за столом, и следователя, с которым он шушукался чуть ли не весь вечер, и, не дожидаясь ответа, сходу, повела развернутое наступление.

Ее лицо светилось от гнева. Раскаленное добела, оно было острием, готовым вонзиться, а тело, обтекаемое, как торпеда, — целясь наверняка — нетерпеливо подрагивало.

Крутые меры не пугали Марину. Она понимала, что на войне сострадание так же опасно, как измена. Ей казалось бестактным — пули дум-дум и ядовитые газы считать негуманным оружием. Марина была достаточно умна, чтобы догадываться о том, как больно умирать обожженному обыкновенным термитом.

— Ах, так? — сказала она, услышав какую-то резкость.

— Знай же — ребенка у нас не будет: я сделала аборт.

Это было подобно взрыву атомной бомбы: число жертв и разрушений в первый момент установить невозможно. Все стерто с лица земли и сражаться больше не с кем. Но где-то, на окраине, хоть один человек, да уцелеет.

Он встает, и встряхивается, и крутит в пальцах чайную ложечку, залетевшую к нему в рукав с витрины какого-нибудь (тоже взорванного) ювелирного магазина. И видит, что кроме этой ложечки ничего у него нет — ни дома, ни семьи. Потом вспоминает дальше и видит, что долгожданная дочка погибла при катастрофе и, сворачивая ложечку в задумчивый узелок, замечает еще, что вдвойне опозорен — как муж и как прокурор. И не понимает, что же делать ему с исковерканной ложечкой, а также — при чем здесь гражданин Рабинович, когда его собственная жена... и говорит:

— Что ты наделала! Что ты наделала!

И чтобы не убить, дает пощечину.

Чтобы он ее не убил, Марина скрылась у себя в комнате. Она не плакала. Сидя перед зеркалом, она гладила пуховкой оскорбленную щеку и подбирала перекошенный от боли рот, казавшийся слишком большим для ее лица.

Г Л А В А Ш

«Спартак» наступал. Центр нападения — заслуженный мастер спорта Скарлыгин — пробивался к воротам противника. Счет был 0:0. У всех занялся дух.

Тысячи зрителей, в том числе прокурор Глобов, впившись глазами в тело прославленного спортсмена, объединенным усилием толкали его вперед. Но тысячи других воль, что боролись на стороне «Динамо», воздвигали на пути Скарлыгина бесчисленные преграды, желали ему споткнуться, упасть, сломать шею. И потому мяч, ринутый могучей ногою, не летел по прямой, как можно было от него ожидать, а метался растерянно, путаясь в бутцах и приводя в замешательство игроков.

Владимир Петрович изо всех сил старался помочь «Спартаку». Напрягая мускулы, он видел, что оборона противника начинает слабеть. Удвоил натиск — она поддалась. И тогда, очертя голову, он ударил, и еще раз ударил, и еще, и еще...

Футбольный матч — в острейшие секунды игры — все

равно что обладание женщиной. Ничего не замечаешь вокруг. Одна лишь цель, яростно влекущая: туда! Любой ценой. Пусть смерть, пускай что угодно. Только б прорваться, достичь. Только б заслат в ворота самой судьбою предназначенный гол. Ближе, ближе, скорее... И уже нельзя ждать, нельзя отложить до другого раза... — Ну, я прошу тебя, Марина, понимаешь, прошу!...

Центр нападения Скарлыгин подобрался к воротам «Динамо». Вратарь Пономаренко, по-мальчишески юркий, пританцовывал от нетерпения, готовясь к прыжку. А сзади уже наседали запыхавшиеся защитники. — Бей, Саша! Бей! — стонал стадион.

Пономаренко покатился кубарем, прижимая мяч к животу. Скарлыгин тоже упал, но сейчас же вскочил на ноги, подброшенный ревом толпы. Он уже не мог остановиться, потому что цель, ради которой ему пришлось столько выстрадать, была рядом, и тысячи людей требовали победы, и до конца игры оставалось полминуты. Скарлыгин нанес удар. И еще раз ударил, и еще...

...Когда объявили ничью, Владимир Петрович обиделся:

— Гнать надо судьбу. Непорядок — забитый гол отмечать.

— А твоего Скарлыгина — судить за грубое нарушение правил, — подсмеивался следователь Скромных, известный своими симпатиями к «Динамо». — Разве это допустимо? Живот у человека — самое деликатное место. Простым кулаком убить можно.

— Но мяч все-таки в воротах?! Так или не так?

Обе команды уже уходили с поля — в пыли, тяжело дыша, под звуки спортивного марша. Плелся маленький Пономаренко, согнувшись в три погибели. Хромал исполин Скарлыгин. Ему свистели, улюлюкали со всех трибун стадиона. И он еще жалобнее волочил здоровую ногу, чтобы чем-нибудь оправдать свою проигранную победу.

— А я понимаю Скарлыгина, — рассуждал Владимир Петрович, дожидаясь, пока схлынет народ. — В горячке не разбираешь. Бьешь — и все тут. Когда ворота рядом — миндальничать не приходится. Все способы допустимы...

И он принялся проводить какие-то аналогии, затронул политику и еще что-то. Аркадий Гаврилыч плохо его слушал.

— Антисемитизм во имя интернационализма, или ин-

тернационализм во имя антисемитизма? — переспросил он, явно не улавливая, о чем идет речь.

Глобов начал объяснять, но тот перебил с полуслова. Видать, ни за что не желал уступить первенство «Спартаку»:

— Все это верно... Однако футбол — не политика. И вообще, знаешь, не люблю я в высокие материи забираться. Это уж твое прокурорское дело теории подводить. А я — практик. Растолкуй мне лучше историю с твоим Рабиновичем.



Сережа с вокзала проехал прямо к бабушке.

— Ты вырос и загорел.

Не вставая, она протянула руку.

— Ну куда целоваться лезешь? погоди — допечатаю страницу.

И застучала в машинку.

— Как дела с картошкой? Дождей испугались? Тоже мне — детки! Мы в твои-то годы по тюрьмам сидели. Есть хочешь? Возьми за окном, разогрей. Да рассказывай ты, рассказывай побыстрее. После успеешь поесть.

Бабушка удивительная. Если б все такими были, коммунизм давно наступил бы. Ее бы — в колхоз. Она — им покажет!

Но выслушав Сережу, Екатерина Петровна молчала. Потом еще свирепее забила в клавиши. Пишущая машинка трещала, как пулемет. Бабушка, попригнувшись на стуле, расстреливала в упор, не целясь.

— Так и знала — опечатка. Придется переписать. Это — все ты виноват: под руку разговариваешь.

Она вложила новую обойму. Сережа терся щекой о спинку стула, заглядывал через плечо.

— Целую страницу? Заново? Из-за одной опечатки? Все равно книга твоего писателя никому не нужна.

— То есть как это не нужна? — изумилась Екатерина Петровна. — Ты сам говоришь — в отдельных колхозах еще есть недостатки. А здесь, — она ткнула в рукопись, — дан образец. Электродоилки, электроплуги. Пусть берут пример. Язык, правда, плох и любви слишком много.

— Я читал, — отмахнулся Сережа. — Все это одно сплошное образцово-показательное вранье.

— Тише! Опомнись!

Но Сережа будто катился с горы: — Я знаю... Я сам видел...

Тогда она поднялась. Если б не морщины — девочка, ну просто — девочка. Стриженная, стройная, в белом воротничке.

— Это, это... Ты отдаешь себе отчет, что ты говоришь?

— Знаю... видел... — не унимался Сережа.

— Ничего ты не знаешь. Это враги говорят. Те, кто против... Как ты можешь? Нет, как ты можешь?

Бабушка задыхалась. Сухие, как сено, космы лезли в разные стороны.

— Все я не против... Я и жизнь, и что хотите. Ты, бабушка, вроде отца. С вами и поговорить невозможно. Вот если бы мама была жива...

Он всхлипнул и сразу стал маленьким. Милый, глупый ребенок, сиротинушка ты моя. Ей хотелось поплакать вместе с Сережей. Но она понимала — нельзя — надо пресечь — надо быть строгой.

— Не реви. Ты же взрослый. Мы в твои годы по тюрьмам сидели. Революцию делали.

А он уже ревел, уткнувшись в ее колени. Светлый пушок вился на затылке.

— Сегодня же пойдешь в парикмахерскую. Успокойся, врагом народа никто тебя не считает. А вот самоуверенность у тебя отцовская. Ну, что ты в жизни видел? Не реви.

Сережа слушал, как вздрагивают его лопатки и, удивляясь этому, плакал еще сильнее.

— И с отцом меня, пожалуйста, не сравнивай. Мы с ним — разные люди.

— А мы с тобой? — спросил Сережа, не подымая лица.

Он знал, что об этом спрашивать стыдно, но раз уж он плачет, как маленький, — все равно.

— Домой тебе лучше пока не ходить. У них там семейные дразги. Поживешь у меня.

— А мы уживемся, бабушка? Я своими принципами не поступлюсь.

— Какие у тебя принципы! Ты думаешь, я старая, ничего не вижу, не замечаю. Я, может быть, побольше тебя плохого знаю. Но, Сережа, ведь ты сам понимаешь — надо верить, обязательно надо верить. Ведь этому вся жизнь отдана, это — цель наша...

Сережа лег на спину и открыл глаза.

— Знаешь что, бабушка, — сказал он счастливым, сырым голосом. — Я пришел к выводу: нам только одно теперь может помочь — мировая революция. Ты как считаешь — мировая революция будет?

— Ну, разве можно в этом сомневаться? Конечно — будет! Давай-ка я тебе поесть разогрею, — сказала бабушка.



Не зная куда деваться, они забрели в планетарий. По крайней мере здесь дешевле и темнее, чем в ресторане, — смекнул Юрий. А домой к нему Марина итти пока что упрячилась: должно быть, не подошло еще время.

Над ними — по всему куполу — разожгли мироздание. Оно повисло миллиардами звезд и тихонько крутилось, поскрипывая на поворотах, будто настоящее небо. Оно раскрывало мохнатые недра и, вывалив содержимое, позволяло удостовериться, что бога — нет.

Вселенная была пуста. И эта пустота была до того огромна, что невозможно представить, и до того бесцельна в своей бесконечности, что Юрию снова, как тогда, в постели, стало не по себе.

К счастью, на этот раз рядом сидела Марина. В темноте от нее духами пахло сильнее, чем на свету. Ее присутствие убеждало, что ты тоже существуешь. Больше того, оно вносило какой-то смысл в эту звездную бессмыслицу, распахнувшуюся над головой. Оно напоминало про цель, за которую надо бороться. И Юрий, как было намечено, принялся объясняться в любви.

Он говорил все те милые глупости, какие употребляют влюбленные, дескать, не в силах жить без нее, и мучается, и не спит. Марина не отвечала, но ее дыхание стало настроженным, и он решил полностью провести задуманный план.

Суть его состояла в том, чтобы притвориться несчастным. Нет, на ее жалость Юрий и не рассчитывал, он делал ставку на лесть — это гораздо вернее. Всякой женщине лестно, что из-за нее страдают, а если она честная женщина, она захочет отблагодарить. И Юрий рассказывал ей на ухо, какой он слабый и маленький, и, унижая себя, потакал ее самолюбию, ибо она должна была думать, что ничтожен он по ее вине.

А в небе тем временем стало светлее, потому что вошло солнце. Оно было большое, как дыня, и заставляло бегать за собой мизерные планеты. Всем этим устройством управлял астроном-профессор, притаившийся в углу. Он твердил, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как утверждают невежды и мракобесы.

Это рассмешило Юрия: Земля, вероятно, думает, что она — Солнце. Пусть — думает. Но ему-то хорошо известно, кто из них цель, кто средство, и где настоящее Солнце. Оно вращается только вокруг себя, единственного, любимого. У Солнца других целей, кроме себя, — нет.

А сам говорил:

— Марина Павловна, будьте моим Солнцем. Ведь Ваше лицо — это центр орбиты, по которой я верчусь. Все мои лучшие качества — лишь отраженный свет Вашего великолепия...

И так далее и тому подобное — все про то, как жалок и мал по сравнению с ней — он, он! — бесценный и первый.

— Сейчас наступит затмение, — объявил профессор загробным голосом.

И затмение началось — да какое! Таких затмений — сам профессор признался — в жизни не встретишь, а если и бывает когда, то — раз в сто лет. Солнце скрылось точно его проглотили. Под юбкой у вселенной стало совсем темно. Темнее, чем ночью, потому что ночью светит Луна, а здесь Луна только и делала, что затмевала Солнце. Лишь электрические звезды чуть заметно мерцали. Тогда он понял — пора!

Марина целовала, не разжимая зубов. И вдруг, на одно мгновение, острый язык высунулся, дважды ужалил и отскочил. И снова сжатые зубы. И уже оттолкнула. Но сомнения быть не могло: здесь, в небесной пустыне, под угасшим солнцем, Марина платила за лесть.

.. Когда зажгли свет, ее лицо сохраняло надменное спокойствие, и ехать к нему на квартиру она опять отказалась.

— Чем Вы заняты? Куда торопитесь? — допрашивал Юрий.

— Важное дело, — улыбнулась Марина с таинственным видом. — А Вы, Юрий Михайлович, превышаете свои права. Уже забыли, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли?

Купол при полном освещении оказался низким и гряз-

ным. Было непонятно, как туда вмещается столько неба. Народ толпился у выхода. Там какой-то ничему не верящий старичок под общий смех доказывал, что бог все-таки есть. А малыш лет шести приставал к отцу:

— Папа, земля — круглая?

— Круглая.

— Совсем круглая?

— Да как глобус.

— А она вертится?

— Вертится, Миша, вертится, тебе же сейчас показывали.

— А солнце больше земли?

— Во много раз больше.

— Значит, все — неправда! — сказал мальчик и горько заплакал.



Над головою там и сям порхали ножницы. Перелетая от уха к уху, они щебетали. Сережа сидел в кресле, стараясь не шелохнуться, чтобы тому, за спиною, было удобнее стричь.

Это очень неловко, когда взрослый мужчина копается в твоих волосах. Ему бы полезное дело делать, а он все свои способности тратит на парикмахерскую. А ты сидишь перед ним, как буржуй, и боишься дохнуть.

Никелированная машина щипала шею. Было больно. В угол между глазом и носом вылезла слеза. А утереться нельзя: еще что подумает.

Великие революционеры тоже приучались заранее. Рахметов спал на гвоздях...

— Голову ниже, — скомандовал парикмахер.

Сережа согнулся, как только мог. Ему хотелось, чтобы еще больнее. Сдирайте кожу — он не уступит. Надо воспитывать волю: вдруг его когда-нибудь будут пытаться.

В руках палача сверкнула бритва. Навалившись грудью на Сережу, он подчищал виски. Потом встрепенулся и сорвал салфетку.

— Прикажете освежить?

— Не стоит, благодарю Вас, — попросил Сережа, краснея.

— Всего шестьдесят копеек, — настаивал мучитель, всем своим гордым видом выражая презрение к сережиной бедности.

— Я не поэтому. А просто я не люблю, если пахнет одеколоном.

И чтобы откупиться, он сунул ему пятерку — отец всегда давал чаевые швейцарам и шоферам...

Холодея свежим затылком, Сережа двинулся к выходу — сквозь строй одетых в белое мастеров. Каждый сжимал в руке никелированный инструмент, методично и сухо терзал своего клиента.

Чик-чик-чик,
Чик-чик-чик...

А в зеркалах подбородки, щеки, лысые и кудрявые голы. Склоненные, задранные, перекошенные, с мыльной пеной у рта.

Чик-чик-чик,
Чик-чик-чик...

Все было спокойно, гигиенично, никто не кричал и не плакал. Но даже лампочки в люстре нестерпимо благоухали.

...В передней небритые люди напряженно ждали своего часа. Заглядевшись на них, Сережа открыл не ту дверь и обомлел.

Здесь был дамский зал. Здесь красили и завивали. Над запахом неживого душистого мяса плавал чад паленых волос.

Впереди, связанная простыней, покоилась женщина. Ее лицо было густо обмазано бледнофиолетовой кашей. Оно растекалось, когда массажистка погружала в него свои холеные руки. А потом лицо закопошилось и разлепило веки:

— Как ты сюда попал, Сережа? Не бойся. Ты не узнал меня? Это же я — Марина.



Поздно вечером Глобов приехал в суд. Вахтер отпер без колебаний: он уважал причуды прокурора и был ему предан.

— Иди, старина, спать, — сказал Владимир Петрович и обласкал папиросой. А сам прошел по коридору, всюду включая свет.

Зал был пуст, и стол был пуст, и пусты судейские кресла с государственными гербами на спинках. Но вся

эта деловая, знакомая до мелочей обстановка казалась еще торжественней, чем в дневные часы.

Прокурор любил приезжать сюда в нерабочее время и готовить обвинительные речи прямо на месте. Как будто не репетиция, а самая настоящая процедура шла обычным порядком — при полном составе суда, в строгой ночной тишине.

...Напрасно подсудимый пытался все запутать, отрицал свою виновность и просил прощенья.

— Нет, гражданин Рабинович, не Вам взывать к милосердию! Вспомните лучше о матерях, которых Вы калечили. Подумайте о несчастных отцах — они так и не дождались ребенка! О детях, наших детях, уничтоженных Вами.

И молчал уличенный преступник, и молчал судья, и молчал вертлявый адвокат, похожий на Карлинского. Все соглашались с тем, что говорил прокурор.

Он обвинял Рабиновича, но помнил обо всех врагах, которые нас окружают. И потому слова его попадали прямо в цель. От незаконного аборта — один шаг до убийства, а отсюда — недалеко и до более серьезных диверсий.

И враги забеспокоились. В тишине, глубокой ночью, они строили козни. Они искали место, куда бы побольнее кольнуть. И вот встает адвокат, похожий на Карлинского, и публично объявляет: жена самого прокурора сделала недавно аборт.

Марину выводят под руки на общее обозрение. Ее лицо — и в позоре — прекрасно, как всегда. Она смотрит сквозь тебя, так что хочется обернуться, смотрит — словно за твоей спиной — большое зеркало, и она не с тобой разговаривает, а глядится в себя.

А глаза обещают, манят. Но попробуй — придвинься — опустятся пушистые веки, и с каким-то страстным презрением, всегда одной и той же, заранее заготовленной гримасой, она скривит обжигающий рот: — Ах, оставь!

— Что же, судите ее, граждане судьи! Судите, если это потребуется. Но помните, помните о врагах, которые нас окружают!

И молчит зал, и молчит судья, и такая гробовая тишина кругом, будто нет здесь ни единой души.

И снова встает адвокат, науськанный врагами, заявляя, что у прокурорского сына вредный образ мыслей. А Сережа сам подходит к столу и во всеуслышанье подтверж-

дает: — Для прекрасной цели, — говорит, — нужны прекрасные средства.

— Глупый мальчишка! — кричит ему Владимир Петрович. — Я же объяснял тебе, куда эта доброта приводит. С твоими прекрасными средствами можно только погнубить, а мы должны победить, победить во что бы то ни стало. Судите его, граждане судьбы, если считаете необходимым! Судите и меня вместе с ним за проявленную мягкотелость! Пусть лучше пострадают десятки и даже сотни невинных, чем спасется один враг...

Когда прокурор Глобов представил себе эту картину и на суде собственной совести взвесил все аргументы, обвинительная речь была уже готова. Не написанная на бумаге и даже не произнесенная вслух, она звучала в ушах исполненным приговором и просилась наружу — в слово. Тогда Владимир Петрович выпрямился и, пристально глядя в круглоголовый герб, украшающий судейскую спинку, громко, так чтобы слышно было во всех концах зала, отчетливо:

— Мы не позволим никаким Рабиновичам подрывать наше общество в самой его основе! Мы не дадим врагам уничтожить нас, мы сами их уничтожим!

Потом он обошел пустое здание, медленно, по всем коридорам. Каждый закоулок осматривал — нет ли кого? Взобрался на второй этаж и тщательно, по-хозяйски, проверил все двери, все запоры. В этом доме он — хозяин, потому что обвиняет здесь — он.

И слышит Владимир Петрович, как внизу, в оставленном зале, продолжается церемония, пущенная им в ход.

— Суд идет!

— Суд идет!

— разносится повсюду: по его обвинениям ведут дела, выносят решения, кого-то привозят и кого-то увозят.

А кто обнаружил Рабиновича, открыл эту цепь процессов? — прокурор Глобов. Кто в трудную минуту заменил и судью и присяжных? — Опять же — он и никто другой. Первый, когда другие молчали, он встал и обвинил. Все думали: Рабинович — пустяк, анекдот, жалкий смешной человечек, а он обвинял, не слушая ни свидетелей, ни адвокатов. Еще ничего, ничего не было. А он уже обвинил. С этого все и началось.



Когда Владимир Петрович обходил второй этаж, он за-

глянул между прочим в дамскую комнату, какая бывает в любом учреждении — есть она и в горсуде. Зашел он туда не из любопытства, а для проверки — нет ли кого? Там было пусто, и только надписи на стенах задержали его внимание. Он прочел, усмехнулся, подумал, что надо сказать вахтеру, чтоб завтра же стерли, и забыл про них. Но я эти надписи помню.

В общей уборной, запершись в маленькой тихой кабинке, ты, наконец, остаешься один на один с самим собой. Здесь ты можешь делать, что хочешь. Никто не увидит, не помешает. Мужчины обычно в таких случаях пишут одни непристойности. Женщины оказались лучше нас, они пишут слова любви и негодования.

Коля, береги себя.

Твоя мама.

Петр! Ненавижу тебя!

Твоей не буду.

Милый Федя, я Вас люблю.

Вспомни, где будешь.

И десятки других фраз, все про любовь и разлуку. Тот, к кому обращены эти слова, никогда о них не узнает. Да и написано все это не для читателя. А просто брошено в пространство, на ветер, в самые дальние дали. Только Бог или случайный чудацк-любитель может подобрать эти молитвы и заклинания.

Я хотел бы также верить в слово, как верят эти женщины. И сидя в своей комнате, похожей на туалетную кабинку, глубокой ночью, когда все спят, писать слова, короткие и прямые, без задних мыслей и адресов.

В начале было слово. Если это правда, то первое слово было таким же прекрасным, как надписи в женской уборной городского суда. Когда оно произносилось, мир начал жить наподобие преysкуранта. Всюду висели дощечки с названиями — «елка», «гора», «инфузория». Из бессловесной пустоты вылуплялись планеты и звезды. И каждая вещь была вызвана своим словом, и слово было делом.

— Судебным делом, — поправляет меня Хозяин. — Ты слышишь, сочинитель! Уж если слово — так обвинительное слово. Уж если дело — судебное дело. Слово и дело!

Я слышу.

Суд идет, суд идет по всему миру. И уже не Рабиновича, уличенного городским прокурором, а всех нас, сколько

есть вместе взятых, ежедневно, еженощно ведут на суд и допрос. И это зовется историей.

Звонит колокольчик. — Ваша фамилия? Имя? Год рождения?

Вот тогда и начинаешь писать.

ГЛАВА IV

На собрание у Зоопарка явилась одна Катя.

— А где остальные? — спросил Сережа. — Неужели струсил? Ведь мы еще в колхозе обо всем договорились.

— Пармонов не придет, у него сегодня в институте семинар по марксизму.

Катя прятала в рукава озябшие пальчики.

— Квалифицирую это как заурядную трусость. Вот Вы, Катя, Вы же пришли. У Вас в школе тоже, небось, утреннее расписание. А Вы не испугались.

— И Вы, Сережа, Вы.

Она задохнулась от этого «Вы», интимного и почти-тельного. Ей все говорили «ты» — учителя, подруги, кондуктора троллейбусов и трамваев. И вдруг, точно они влюбленные — «Вы, Катя», «Вы, Сережа». А Сережа все нажимал: Вы, Вы. Дело предстояло опасное, от детских привычек пора отвыкнуть.

— Вы посмотрите, Катя, — он показал в сторону Зоопарка. — Это похоже на планету Марс. Там, говорят, вся растительность красная, а не зеленая.

Осень была в самом разгаре. Деревья в парке переменили расцветку. Они покачивали фантастической, не по зимнему красной листвой. И хотя Катя ничего не знала о других планетах, она радостно закивала своими большими очками.

— Да, Вы правы, совсем как на Марсе.

В кассе Зоопарка они купили билеты по два рубля — для взрослых — и вошли.

Все бежали смотреть зверей, а здесь, в начале марсианской аллеи, у пруда, где уже перевелись слишком южные пеликаны, почти никого не было. Только пара молодых людей в одинаковых демисезонных пальто и одинаковых шляпах. Один из них совал прутик сквозь решетку, стараясь привлечь внимание диких уток, дремавших на бе-

регу. Время от времени он даже крикал по-утиному. Но, видно, его криканье было недостаточно натуральным, потому что умные птицы не откликались.

— Присаживайтесь, — сказал Сережа. — Здесь вполне безопасно. Предлагаю обсудить программу нашего общества.

— А как будет называться это общество, — спросила Катя и тут же предложила: — Давайте ему придумаем красивое, звучное имя, вроде «Молодой Гвардии». Например, «Свободная Россия».

— Видите ли, Катя, из достоверных источников нам известно: за границей уже есть такая шпионская радиостанция — «Свободная Европа». Могут решить — мы с ними заодно. Необходимо отделить себя от всех врагов. А то империалисты воспользуются.

Сережа воодушевился. Он снял кепку, не боясь простудиться, и размахивал ею в такт словам. Перед Катей открылся мир, коммунистический и лучезарный.

Самую большую зарплату получали уборщицы. Министры же для пушного бескорыстия находились на скудном пайке. Денежную систему, пытки, воровство — отменили. Наступила полная свобода и уж так хорошо получалось, что никто никого не сажал, а каждый имел по потребностям. На улицах были расклеены плакаты Маяковского. И еще другие, сочиненные Сережей: «Остерегайся! Ты можешь оскорбить человека!» Это на всякий случай, чтоб не забывались. А кто забудет — расстрел.

Впрочем, в сережином изложении все выходило куда более стройно, и Кате оставалась неясной только одна деталь: сейчас же силой оружия свергнуть правительство или, может повременить, пока другие страны не покончат с капитализмом? Сережа советовал подождать мировой революции, но признавал, что потом, как это ни печально, придется все-таки свергнуть.

Катя попросила внести в программу еще один пункт: о совместном обучении юношей и девушек в старших классах средней школы. И, тронув сережину кепку, робко добавила:

— Раз уж мы все равно в зоопарке, давайте посмотрим тигра.

Сережа недовольно нахмурился.

— Это для пользы дела, для конспирации, — пояснила Катя.

— Ну, что ж, — разрешил он, подумав. — Для конспирации — можно.



— Старики-фламандцы писали нагое тело как груды всяческой снеди. Вы посмотрите, в этих фламандских дамах есть и сливочное масло, и свежие булки, и свой дамский изюм.

Карлинский скосил глаз на Марину. Та слушала его с независимым видом. Будто все, что он говорил, было ей хорошо известно. Она делала одолжение, позволяя водить себя по музею.

Вокруг висели женщины и натюрморты. На пышных задах морщинилась чуть заметная рябь. Так бывает с чаем на блюде, если легонько подуть, чтобы он простыл побыстрее. Или — когда потрогаешь слишком спелое яблоко. Сквозь бледножелтую кожуру проступят теплые пятна — следы прикосновений.

Среди этой разнузданной плоти Марина была самой одетой. Карлинский начал издали.

— Почему мы так говорим: «познать женщину?» Что общего между познанием и любовью? По какой таковой причине первородный грех случился не где-нибудь в кустах малины, а под яблоней познания?

Марина лизнула кожу над верхней губой. Кожа была нежна и сладковата на вкус. От этой заграничной мастики лицо становится гладким, как паркет.

— Всякое познание состоит из двух, я бы сказал, элементов: связь и различие. Не правда ли, познавая любую вещь, мы, во-первых, связываем ее с другими, во-вторых, отличаем от других вещей как нечто оригинальное. В половом акте, — извините меня за вульгарное выражение, — и заключены первоэлементы познания. Адам и Ева слились в любовных объятьях и тут же поняли разницу: где мужчина, а где женщина. Связавшись, они различились, а различившись, связались. И таким образом познав себя, принялись познавать остальное.

Марина уселась перед «Вакханалией» Рубенса, открыла сумочку и еще раз, на всякий случай, осмотрела себя. Ее лицо не умещалось в круглом зеркальце. Нужно долго крутить головой, чтобы проверить все.

— Продолжайте, Юрий Михайлович. Итак, мы остановились на первородном грехе. Дальше что?

— С первородного греха и началось познание мира. Мужчина и женщина, свет и тьма, добро и зло, пока Гегель не назвал все это единством противоречий. Но в основе человеческой мысли, дорогая Марина Павловна, в самой последней основе. — сокрыт половой акт, два сопряженных органа, столь не похожих друг на друга. Головной мозг — всего лишь познающий придаток наших сексуальных частей.

— Это — остроумно, — заметила Марина, не улыбаясь. Она отдавала должное изобретательности Юрия, но понимала, что красивая женщина обязана не удивляться, хотя бы перед ней демонстрировал свои теории сам Гегель.

— А как же звери, Юрий Михайлович? Они ведь тоже, так сказать, размножаются. Однако философское мышление почему-то им не под силу.

У Карлинского звери были уже учтены: звери не имеют стыда, в стыде же вся суть и любви, и познания.

— Пройдемте в древний Египет и там доберемся до сути, — сказал он, вытирая пот со лба.

Их разговор приобрел почти научный характер.



В зимних помещениях было тепло и мокро, как в оранжерее: зверей подогревали. Но лишь одни змеи, уютно свернувшись под стеклом, чувствовали себя дома. Остальные жили здесь будто на вокзале. Слонялись из угла в угол, беспричинно почесывались, ждали.

— Они ждут свободы, — определила Катя. — Они мечтают вырваться из этой вонючей тюрьмы.

В тесных простенках, скудно посыпанных сеном, подсакивают на своих костылях австралийские кенгуру. Обезьяны торопливо разучивают жесты интеллигентного неврастеника. Как пишущие машинки, стрекочут попугайчики, собранные в общей камере. Непоправимо одинок слон.

На осеннем холодке мало кто остался: волки, неотличимые от собак, рыси, похожие на увеличенных кошек. Всеобщее любопытство возбуждала овца. Должно быть, ее посадили в клетку за недостатком настоящих зверей или для полной научности. Раз уж сидит за решеткой, значит — не зря.

Катя от всего сердца жалела и волков и медведей. Она склонялась к тому, что зоопарки вместе с тюрьмами сле-

дует упразднить. Сережа резонно ей возражал: наука требует жертв. Во имя мирового прогресса. Но в будущем обществе зверинцы сплошь перестроят. Вместо этих когур — просторные, светлые клетки. Колочая проволока в виде древесных ветвей, чтобы не так заметно. Звери будут чувствовать себя почти на свободе.

Слушая его речи, Катя всплакнула.

— А вдруг они не поверят, что это для ихней же пользы? Сережа, милый, я не могу, не хочу, если тебя арестуют. Куда же я денусь?

Сняв закапанные очки, она стала беспомощной, как все женщины. Ее утешать было досадно и сладко. Но вот, связался с девчонкой! А еще собиралась тигра смотреть для конспирации. Если бы не борьба впереди, он бы ее полюбил. Рахметов тоже подавлял в себе всякие личные чувства. И Павел Корчагин.

Ему было жалко себя — такого хорошего, такого честного, готового погибнуть за всех.

В хищном отделе им снова встретилась пара демисезонных пальто. Одно из них говорило, обращаясь к леопарду:

— Что ты можешь, зебра, по сравнению с человеком? Гляди-ка, Толя, хвостом вильнула, облизывается. А шкура вся в родинках. Такую бы зебру дома над кроватью повесить!

Леопард смотрел на него круглыми, детскими от изумления глазами. Он удивлялся этой живой пище, завернутой в пальто и в брюки, точно конфетка — в бумажку. Леопард, вероятно, был из вновь прибывших и еще плохо разбирался — что к чему.

Тигр спал на правом боку, прислонившись к решетке. Его спина была совсем полосатой. Казалось — на ней отпечатаны прутья, к которым он привалился.

Когда отворяли дверь на улицу, звери воинственно озирались и вскакивали. Они суетились, словно пассажиры на провинциальной станции перед приходом поезда. Близилось время обеда.

Только тигр не шевелился. Он спал как убитый.

Прокурор повернулся на левый бок. Он любил спать днем, после ночной работы. Тело отдыхает, но ум бодрствует, когда вокруг светло. И спится как-то спокойнее.

Засыпая, мы словно садимся за телевизор, который забыли настроить. Вещи расплываются, дали гаснут, люди ватными ногами вышагивают по ватной земле. Ты не различаешь черты приснившихся родных и знакомых. Все видишь не в фокусе. Но всему заранее веришь, как малолетний ребенок. Вот это — Марина, а это — Карлинский, и он ей говорит:

— У богов и животных нет стыда. Стыд — наша монополия. Когда Адам и Ева превратились из обезьян в человека, они устыдились. Грехопаденье — познание — стыд. Не разорвать!

Лицо Марины струилось в разные стороны. Карлинский тоже имел довольно прозрачный вид. Его ладони плавали в темном воздухе, как две медузы — поднимаясь и опускаясь. Он таял в улыбках и недомолвках.

— Стыд — это табу, которое мы нарушаем. Потому и нарушаем, что стыдно. Совершать недозволенное — что может быть человеку приятнее? Тут — все наше отличие от богов и животных тварей...

— Это ты — тварь, — хотел ответить Глобов и онемел. Телевизионный экран вырос, будто в него вставили линзу. На переднем плане вспухло звероподобное существо с кошачьими лапами и женской мордой.

— Предпочитаю сфинксы, — объявила Марина. — Они гораздо красивее Ваших стыдящихся обезьян.

— Сами Вы египетский сфинкс! — возопил Карлинский, радостно ужасаясь. — Вас бы сюда в музей, в качестве экспоната!

Его тощая фигура расплывалась в туман. Владимир Петрович стоял в Египте имени А. С. Пушкина. Музейные залы походили на зоопарк. Разные древние народы до того были забиты и суеверны, что поклонялись даже львам и баранам. Но рисовать они умели еще очень плохо: к человеческим ногам прилаживали звериные головы или наоборот.

Разглядеть все эти подробности не хватило времени. Перед ним, на мраморном пьедестале, вытянув передние лапы, гордо возлежала Марина.

— Кис-кис-кис, — поманил ее Глобов.

Она подползла ближе. Жаль, что я сплю, и хорошо, что испарился Карлинский, — успел он вспомнить, когда Марина, мяукнув, положила ему на плечи свои когтистые лапы. Ее лицо дымилось, как чашка черного кофе. И он пригубил душистый напиток, засыпая все глубже и глубже.

Карлинский долго стоял над базальтовым зверем. С трудом выдавил очередной афоризм:

— Скотоложство наказуемо по уголовному кодексу, дабы не было столь привлекательно для человека.

— Это Вы про кого? — очнулась Марина.

Они смотрели еще французом, но Юрий не реагировал даже на Ренуара. С этой проклятой Изидой хоть беседуй об акушерстве: ни стыда, ни любопытства. Точно животное. Или в самом деле — богиня...

— Меня, Марина Павловна, тоже прельщают сфинксы. Тому, кто познает Вашу хвостатую даму, быть может, откроются тайники мироздания?

— Может быть, — ответила Марина, придавая лицу загадочное выражение, как это и подобает сфинксу.

Не успел Глобов открыть глаза, как откуда ни возьмись появился гражданин Рабинович. Он отбывал наказание при Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, работая в должности экскурсовода. Что за преступное ролеизыяснение определить его сюда!

Наглый и навязчивый, как все евреи, он дал понять: ему де свыше поручено сопровождать прокурора. После сфинксовых ласк (подглядел, сволочь!) тот, мол, обязан volens nolens познакомиться с кое-каким секретным материалом.

— Только смотри — чтоб мистики ни-ни!

— Ладно, — обещал Рабинович.

Над пневматической дверью светилась цитата из сочинений Хозяина:

ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ РОЖДАЕТ ВЕЛИКУЮ ЭНЕРГИЮ.

За цитатой — пространство, стеклянная банка — в центре, а в банке — заспиртованный мозг, извилистый, как земная кора. Его полушария медленно колыхались. Вдруг, по тонким трубкам, сквозь реторты и колбы, через перегонные кубы, бежал зеленоватый раствор.

Рабинович хихикнул:

— Всякий раз, попадая сюда, я немножко пугаюсь.

Дрогнувшим пальцем он ткнул студенистый комок. Тот продолжал пульсировать как ни в чем не бывало.

— Не слышит. Все думает и думает, идеи изобретает. Может, у него на родине была любимая девушка. А чтоб

на свиданье сходить — ног нету. На его извилинах разве далеко уползешь?..

Я волнуюсь, гражданин прокурор, как бы от этих непрерывных раздумий он с ума не спятил. Ведь вся мировая цивилизация насмарку пойдет! Мы какой-то дурацкий атом расщепили и уже беспокоимся. А тут, в этой банке, представляете, — цепная реакция мозга. Взрывы идей, самумы рассеянных мыслей. Чуть не доглядел — куда там водородная бомба! Не только наша скромная планета, галактика на куски разлетится. Я, по правде сказать, опасаюсь за Бога...

— Не развалится твоя галактика, не допустим, — ободрил его Глобов. — А про бога ты забудь, бога идеалисты придумали... Признайся-ка, Рабинович, что это за идеи производятся тут? Уж не реакционный ли какой вздор лезет из мозговой реакции?

— Что Вы, гражданин прокурор! — обиделся Рабинович. — Одни только высокие цели, великие идеалы. От них — все остальное, по закону диалектики. Культуры там разные, ренесансы. У нас без обмана. Желаете лично убедиться?

— Ну, давай, действуй! Да побыстрее. А то некогда мне: проспать пора.

— Заявляю Вам откровенно, как на страшном суде. Не мне, старому иудею, защищать дело Христа. Но ради объективности должен отметить: у него имелась, гражданин прокурор, тоже благородная цель.

Бывший врач-гинеколог вперил глаза в потолок. На его иссохших щеках заиграл лиловый румянец.

— Сына человеческого посадить на Божий престол, ближнего возлюбить больше, чем себя самого — очень все это прогрессивно, говоря между нами, для того исторического этапа, конечно. Ну, а что получилось? Нет, Вы только послушайте, что из этого получилось!

С верхнего этажа доносился стук молотков. Это отбивали ручки у какой-то милосской вены. Запахло пережаренным мясом — горели еретики.

— Сейчас гугенотов будут резать! — радовался Рабинович. А прокурор недовольно ворчал:

— Экое варварство! Я еще понимаю — идолопоклонники, мусульмане, крупные идейные разногласия. А здесь и разницы почти никакой — единоверцы.

— Для Вас никакой разницы. А по их непросвещенному мнению гугеноты, может, дьяволу продались? Ведь нельзя допустить, чтобы два христианства сразу? Это такой же нонсенс, как два социализма. Взять хотя бы нашего Тито...

— Тито — фашист, шпион, американский прислужник!

— Ну да, я и говорю: дьяволу продались.

Их спор был прерван праздничным ликованием. Над осатанелой толпой, лихо раскинув кровоточащие руки, кокетливо изогнувшись на золотом кресте, отплясывал победный танец Иисус Христос.

А вокруг уже шептались средневековые паникеры и нытики. Дескать, за что боролись? Измена! Перерождение! Дескать, от великой цели остались одни средства, она их оправдала, они же ее скромпрометировали.

— А я про что говорю? — суетился Рабинович. — Каждая порядочная цель сама себя поедает. Из кожи вылезаешь, чтоб до нее добраться, а чуть добрался — глядь — все наоборот.

— Просчитались твои иезуиты, допустили ошибку.

— Ни малейшей ошибочки. Законно. Что цель оправдывает средства — это всякий культурный человек понимает. Открыто ли, тайком, но без этого с места не сдвинешься. Если враг не сдается, его уничтожают. Скажете — нет?

А раз хороши все средства, значит, действуй решительно. Во имя Господа Бога самого Бога не пожалей. Тут ей конец, следующая цель выползает на авансцену истории. Глядите, глядите, гражданин прокурор, — новенькая, как из магазина.

Опять, словно книжка с картинками, распахнулись стены музея. Нарисованные ангелы забили нарисованными крыльями.

— Снова ты мне поповские агитки подсовываешь, — нахмурился Глобов.

— Как можно, гражданин прокурор. Сплошной Леонардо да Винчи. Индивидуализм. Просвещение. Свободная мыслящая личность. Та самая личность, что взамен Христа утвердилась и постепенно буржуазные порядки кругом себя развела. Но пока — взгляните — разве такая цель не достойна любых средств? Грация, эрудиция, марципан!

— Я не желаю больше смотреть, — отвернулся Глобов, предчувствуя какой-то подвох.

Но Рабинович будто не слышал:

— Во имя этой свободы одна личность другой лич-

ности начинает кишки выжимать. Видите, как конкурируют? Теперь и до новой цели недалеко. Во имя коммунизма...

— Замолчи! Останови эту машину!

Но было уже поздно.

«Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем...»

Пли!

ГЛАВА V

Владимир Петрович достал Сереже гостевой билет, и военным парадом они любовались вместе.

Площадь в танках и в пехоте была видна хорошо. Но главная трибуна осталась далеко сбоку, и что творилось там, Сережа не мог разглядеть.

— Улыбается! — заметил отец, ухитрившийся каким-то чудом быть в курсе всего. Сережа приподнялся на цыпочки и опять ничего не увидел, кроме голубых пятен с золотой каймой. Ему казалось, что отец выдумывает, но сзади кто-то солидный констатировал откормленным басом:

— Да, улыбается и сделал вот так.

— Не так, а вот эдак, — поправила костистая дама, вооруженная театральным биноклем. И тут же заскулила:

— На небо смотрит, сокол ясноглазый! На своих соколят!

Бомбовозы шли сомкнутым строем. В их прямом, тяжелом полете заключалось столько достоинства, что хотелось по шенячьи опрокинуться на спину в знак покорности и восхищения. Но, прижимая тебя к земле, они были слишком серьезны, слишком заняты своим возвышением, всепоглощающим делом, чтобы размениваться на мелочи и злорадствовать над тобой. Они, тараня воздух, двигались дальше, к цели, расположенной, бог знает где, и по сравнению с которой Сережа — как он сразу понял это — был попросту не нужен. Даже вся эта площадь служила им в лучшем случае временным ориентиром.

Отец уже тормозил его за плечо:

— Куда ты глядишь, Сергей? Левее, левее! Видишь — рукою машет, приветствует демонстрантов.

— Родной! Любимый! — стонала костистая дама, извиваясь в левую сторону. Казалось, у нее с губ вот-вот

забрызжет пена, и Сереже стало неловко за свое равнодушие. К собственному стыду он до сих пор не сумел отыскать в пятнистой кучке, шевелящейся на трибуне, того, чье гордое имя возбуждало всех, как вино.



Про него шушукались в публике. О нем чревоуещали репродукторы. Его портреты разных размеров, очень похожие друг на друга, проплывали через площадь, словно парусные корабли. Демонстранты, проходя мимо, не смотрели себе под ноги, а кривились всем телом назад, чтобы еще раз издали, обернуться к нему.

Но сам он, как это представлялось Сереже, странным образом отсутствовал. Все говорило, что он здесь, а его вроде и не было.

— Увидал, наконец? — допытывался Владимир Петрович. — Что ты — слепой, близорукий?

Сережа из последних сил взгляделся и к одному голубому пятну, стоявшему чуть в сторонке, добавил мысленно недостающее лицо.

— Теперь вижу.

И, набравшись храбрости, спросил:

— Он кивает, и улыбается, и машет рукой?

— Да, это — он, это — Хозяин, — подтвердил отец.



На демонстрацию Юрий не пошел. Он сказался больным и все утро ловил джазы. Приемник — немецкий. Слушай хоть Би - Би - Си. Было весело прыгать вверх-вниз по всемирной шкале.

Парижскую рекламу сменяло нытье арабов. А вот сцепились хвостами две передачи. Какая-то скандинавская кирха транслировала молитвы. Тут же, невпопад, украинское контральто, промытое борным раствором, рассказывало про успехи знатного токаря Наливайки, который выполнил к празднику годовой план.

Пальцы вибрировали. В них тоже бился эфир. Радиоволны — петля за петлей — обвивали шею. В ответ, из живота, из пустой впалой груди, гудело и вздрагивало черное магнитное небо, кое-где прошитое трассирующим песком морзянки.

Юрий был антенной. А хотелось быть передатчиком.

Излучать могучие волны какой угодно длины. «Внимание! Внимание! Карлинский у микрофона. Слушайте только меня, меня одного!»

Станции наперебой голосили, каждая про свои интересы. Они обступили его, как торговки на рынке. Юрий крутился, теребя ручку приемника, едва успевая настраиваться то на одну, то на другую.

Его губы напевали псалмы, штиблеты под столом выстукивали бразильское самбо. А что он мог предложить миру от своего имени? Какое еще попури из Фрейда и гавайской гитары? Кто я и где я, оригинальный, единственный, если всем сразу пришел срок говорить?

Наконец, Юрий нащупал волну «Свободной Европы». Диктор конфиденциальным тоном (должно, сам побаивался) обещал что-то пикантное — в честь октябрьской годовщины, специально. Слово предоставили бывшему подполковнику авиации, поседевшему от многих обид на тяжелой советской службе. Но только потусторонний голос бывшего подполковника произнес — «Дорогие братья и сес...», — как послышалось гневное заградительное рокотанье. Это вступили в бой наши глушители.

От ружейного и пулеметного треска ныли барабанные перепонки. По «Свободной Европе», по американским джазам и французской рекламе шпарил ураганный огонь. На бескрайних электронных полях начиналось сражение.

Юрий проскочил мертвую зону и перевел дух. Выстрелы затихали вдали. А навстречу неслись бравадные марши и клики «ура». Первые демонстранты проходили перед трибуной.

Этого перенести Юрий уже не мог. Резко, обрывая трансляцию, он вертанул выключатель. Так сворачивают голову пойманной птице. Ему даже показалось, что хрустнули шейные позвонки.



Екатерину Петровну по привычке прокурор звал мамашей. А какая она мамаша? — уже и не теща. После второй женитьбы Глобова они почти не встречались. Но по праздникам — 7 ноября и 1 мая — он ее навещал.

Мамаша смеялась: — Что, прокурор, дела другого нет? Вспомнил о революции? И поила густым, как красное вино, чаем...

На стене — карта Кореи, утыканная флажками. Когда

Сережа только родился, на том же месте висела страна Испания. Красные тряпочки, приколотые булавками, бежали по линии фронта. Старуха была консервативна в своих вкусах. Аккуратно, каждое утро, она переставляла флажки.

Он зевнул, скрипя стулом, выгибая тугую грудь, обвешанную орденами.

— Ну и пузо у тебя отросло — скоро произведут в министры. Куда только новая твоя супруга смотрит? Да ты не обижайся, я шучу. Как живешь, выкладывай. Все с женой воюешь?

Обманывать ее было нельзя.

— Дома — плохо.

Под толстым слоем лица проступили скулы, желваки, челюсть — злая мужицкая худоба.

— Сами знаете, мамаша, родился и вырос я в морально и физически здоровой среде. А тут разные фигли-мигли, интеллигентские штучки. По неделям в молчанки играем, даже обедаем порознь. Точно я — не муж, а вспомогательное средство какое-то... Я — человек простой, снизу поднялся, большого положения достиг...

— Ты только не хвастай, хвастаться тебе нечем.

— Вот этими вот руками и землю пахал и смертные приговоры подписывал...

Его кулаки, как два танка, выползли на середину стола. Не доезжая сахарницы, они стали и, царапая скатерть, гремя посудой, опрокинулись навзничь, мясистым брюхом наружу. Владимир Петрович пожаловался на слабое сердце.

При таком высоком давлении необходим полный покой. А как тут не волноваться, когда дома — бардак, на службе — сплошные нервы, на международной арене — тоже не Кисловодск.

Под большим секретом он рассказал, что в ...гарии и ...вакии раскрыты диверсионные центры. В Н-ском обкоме группа злоумышленников готовила переворот. Враги, окончательно обнаглев, пытаются посеять панику, и самые невероятные слухи, один сногшибательнее другого, носятся по городу. То в спичках найдены бактерии рака, засланные иностранной разведкой (поковыряешь этакой спичкой в зубах — и конец!). То женщины под влиянием космических лучей вместо младенцев мужского пола рожают одних только девочек (в ущерб нашей армии!).

Уши прокурора полнились кровью, темной и маслянистой, как нефть. Распухшая шея свисла за воротник. Нужно,

охлаждать, как нужно, доброе кровопускание, громкий публичный процесс, очищающий атмосферу!

Старуха зябко куталась в шаль, объединенную молью, вспоминала каких-то знакомых из допотопных времен:

— Да, бывает... Плужников Константин — кто бы мог подумать? — японский шпион. Мне уже потом пришло в голову: ведь этот Плужников еще в Женеве якшался с меньшевиками... Но случается и понапрасну, невиновных...

— Вам известно, мамаша, как танки идут в атаку? — хрипло спросил Глобов и встал. — Они давят все на пути. Случается — своих же бойцов, раненых. Танку объезжать нельзя. Если он будет сворачивать перед каждым раненым, его расстреляют в упор из противотанковых пушек. Он должен давить и давить!

Больное лицо прокурора было скорбно и торжественно. Екатерина Петровна невольно встала вслед за ним.

— Что ты мне, Володя, азбуку объясняешь? Наша цель многих жертв стоит. Но только ради нее, понимаешь, ради нее одной.

И едва дотянувшись, по-старушечьи, чмокнула его в почерневшую, надутую кровью щеку. Слово и впрямь была мамой, той позабытой, неграмотной, настоящей, что перекрестила его в путь-дорогу, когда уходил из деревни...

Уже в калошах, прокурор подошел к карте. Красные тряпочки обвисли на булавках, покрылись чистой комнатной пылью. Видать, их давно никто не трогал: на корейском фронте не было перемен.



Троцкизм, чистейшей воды троцкизм! — восхитился Юрий Михайлович. Открытие превзошло самые лучшие ожидания. Да у них уже целое общество, у этих ребятешек. Мальчики и девочки занялись мировой революцией!

Катя, пока он читал программу, озиралась по сторонам. Ее подавляло это изобилие мебели, втиснутое в одну комнату вперемешку с книгами и картинками, густо облепившими стены. Здесь даже настоящая икона имелась. Не в переднем углу, а по-культурному — над радиоприемником, рядом с японской гравюрой.

— Я рад возможности ближе познакомиться с Вами, Екатерина... Извините — не знаю по батюшке.

Катя с трудом вспомнила свое отчество, стеснительное как новое платье, на которое все обращают внимание.

— Поговорим откровенно, Екатерина Григорьевна. Наш друг выбрал скользкий путь. Так и передайте ему вместе с этим трактатом.

— Сережа? Сергей Владимирович?

О, эти очкастые барышни-подростки с непомерно большими кистями в цыпках и недоразвитой грудью! И эта первая тайная любовь на идейной основе! Самый подходящий материал для психологического эксперимента. Что-нибудь в духе старинной драмы — столкновение чувства и долга.

Он залюбовался фарфоровой группой, приютившейся на этажерке. Козлоногий сатир простер объятая ускользающей нимфе. Та, прикрыв руками фасад, оставила без внимания свой не менее соблазнительный тыл. Карлинский погладил сигареткой ее голубоватую спинку.

— Революция, партмаксимум, демократическая косооборотка покроя двадцатых годов, — он помахал тетрадь, что принесла ему Катя. — Примерно в том же духе рассуждали троцкисты...

Катя была шокирована: при чем тут эти враги народа, диверсанты, вредители? Таких надо уничтожать беспощадно, как делает Берия. А сержина организация, покамест безымянная, борется за свободу, за настоящую советскую власть. Она гадливо вздрогнула, вспомнив карикатуру в газете, где Троцкий, или Тито, или еще какой продажный убийца в виде хвостатой крысы восседал со своими прихвостнями на горе из человеческих костей.

Но Юрий не стал уточнять, кто такие троцкисты. Гораздо забавнее было амплу ортодокса. Ему, всю жизнь защищавшему мошенников да спекулянтов, выступить вдруг адвокатом первого в мире государства!

Бодро вскочив с дивана, он принял меланхоличную позу, какую обычно употреблял на защите трудных клиентов. Отецубийцы, казнокрады, растлители малолетних нуждаются в патетике, в риторической жестикуляции. Другое дело мелкое воровство или пьяный дебош. Там не вредно и пощутить и подпустить перцу. Но крупное преступление требует сочувствия. Адвокат — это совесть преступника, оскорбленная правосудием.

— Если б я лично не знал дорогого Сергея Владимировича, не был другом его отца, наконец, не познакомился с Вами, Екатерина Григорьевна, я бы, я бы...

Длинная тень Карлинского прыгала среди японских гра-

вюр. Всплескивая руками, карабкалась на потолок. Опровергала.

— Нельзя допустить, чтобы. Всему миру известно. Либо — либо. Пусть. Марксизм, нигилизм, наплевиизм. Фракция, акция. Левацкий загиб, правый уклон. Сугубо. Требуется жертв. Великой цели. Во имя. Цель, цель, цель.

— Для хорошей цели и средства нужны хорошие, — слабо сопротивлялась Катя.

Карлинский ожесточился: эта тихоня толком не знает, откуда дети рождаются, а туда же, рассуждает, мнит себя Софьей Перовской.

— Средства хорошие? Мокрого места не останется ни от Вас, ни от Ваших средств... Да Вы сами, дайте Вам власть... Если я, например, захочу быть императором... Или, по крайней мере, взорву памятник Пушкину у Тверского бульвара... По головке погладите? Так не все ли мне равно в какой кутузке сидеть? Реформаторы! Хорошего социализма желаете, свободного рабства?...

Вовремя спохватившись, он снова перешел на общедоступный язык:

— Объективно. Логика борьбы. Колесо истории. Агенты империализма. Вспять. Кто не с нами. Окружение. В одной стране. Поистине. Объективно.

Она подавленно молчала.

— Рьянцы, контр, ксизм-сизм-сизм,

Мация-кация-ация-нация,

Нцип-нцип,

Бектив.

Гуманюция, Pferd!

Катя была сражена.

Еще Сережа предупреждал: «а то империалисты воспользуются». И вот они воспользовались — акулы капитала. Акулы и агенты, гангстеры и самураи. Изогнутые словно драконы, раздутые будто лягушки, со всех карикатур и плакатов, с японских злых картинок протянули руки, заманили в сети, окружили кольцом — враги. Кто их привел? Карлинский, все доказавший как дважды два четыре (кация-мация, логия-могия), Сережа ли Владимирович, что заслал ее к этому типу со своей мелкобуржуазной программой? Или, может, она сама — объективно, не хотела, но, понимаете, объективно, предоставила платформу, проявила и допустила?

— Тетрадочку-то советую ликвидировать, — крикнул ей вдогонку Юрий Михайлович. — А еще поразмыслите на

досуге, что Вам дороже... Во имя... Требуется жертв... Эй! Екатерина Григорьевна!...

Он вышел на площадку и слушал, как стучат ее каблучки в гулком мраке подъезда. Девушка — с норовом. Но по крайней мере прокурорский сыночек станет теперь осторожнее. Пускай не впутывает в азартные игры тех, кто сохраняет свободу. Свободу оригинального мышления.

Он свесился через перила и плюнул в пролет лестницы, похожей на колодец. Ответа не было долго. У него закружилась голова от этой чернеющей под ногами каменной глубины. Зато потом влажный отзвук донесся так отчетливо, что Юрий плюнул еще раз.



От спиртного Глобов наотрез отказался — болело сердце. Ему, как почетному гостю, можно было не пить. Среди всей этой развеселой, сугубо мужской компании он один сохранял ясность взгляда, похлебывая для приличия шипучую минеральную воду.

Следователь Аркадий Гаврилыч увлек его в уголок. Под звяканье ножей и рюмок разговорец вышел интимный, любопытным ушам, если бы таковые имелись, недоступный.

— Рабинович-то твой у нас теперь обитает. Пересели. Ну и глаз у тебя, прокурор!... Снайпер! Робин Гуд! Тиль Уленшпигель!

Воровато оглядевшись, он почти уткнулся губами в прокурорскую шею.

— Помнишь, намекал ты... еще в сентябре? Я сразу догадался... Копнули мы поглубже и, говоря между нами, дельце получилось — пальчики оближешь.

— Неужели политика?

— Шутник ты, Владимир Петрович. Будто сам не знаешь... По твоим же зарубкам все начинали... Да если бы он один!... Тут, брат, масштаб государственный... Медицина!... Чувешь? Все из этих... носатых... которые космополиты... Сплошником!...

Он отскочил к столу, причитая по-бабьи:

— Насыщайтесь, ребятки, не стесняйтесь! На то и мальчишник, чтоб самим угощаться!

Владимир Петрович решил досидеть до конца. Ему нравились эти ребята, сослуживцы Аркадия Гаврилыча, — с открытыми, как ладонь, лицами, с чистыми, как стеклышко, биографиями, с незапятнанной совестью. Добродушные мужчины, наводящие ужас, может быть, на полмира.

Среди них имелись таланты: рекордсмен по прыжкам в воду, другой поет, как в опере, третий художественно свистит. Все были в штатском (только Глобов в мундире), а он хорошо знал — здесь есть капитаны, майоры, даже два подполковника. Невидимая грозная армия сидела за праздничной трапезой.

Говорили о детях, о футболе. О летнем отпуске тоже. Кто хвалил Кисловодск, кто решительно предпочитал крымское побережье. Один из двух подполковников (тот, что художественно свистит) объявил о покупке «Победы»:

— Послезавтра деньги вносить, а я все цвет выбираю: бежевая или серая.

Разгорелся спор. — Бежевая машина — элегантнее, — настаивал Аркадий Гаврилыч. Ему возражали, что бежевая «Победа» — это слишком банально.

Владимира Петровича радовала непринужденность, царящая на вечеринке. Обычные сослуживцы говорят в основном о работе, выставляют друг перед другом свой идейно-политический уровень. А эти, наоборот, снаружи — самые домашние люди, политика же скрыта внутри, в глубине души, втайне — там, где у прочих смертных одни пороки и недостатки.

Как заблуждаются писаки из продажной западной прессы, представляющие этих людей в виде каких-то мрачных злодеев. Да это же милейший народ — остроумные беседники, отличные семьянины. Многие из них, как рассказывал Скромных, любят в нерабочее время тихо удить рыбу, варят сами обед, мастерят детям игрушки. Один старший следователь по особо важным делам в часы отдыха вяжет перчатки, вышивает подушки, скатерки, утверждая, что рукоделие развивает нервную сеть. Но если потребуются!...

За окном ахнул салют. Будто вылетела пробка из очень большой бутылки. Пришлось и Владимиру Петровичу ответить шампанского. Он позволил себе всего один бокал.

— Я предлагаю тост! Чей вдохновляющий гений! Неуклонно вперед! На борьбу! От победы к победе!

Стол был похож на поле битвы. Вина кровоточили. Паштеты — изъезжены вдрызг, подобно военным дорогам в мокрую осеннюю пору. Сломанные скелеты селедок, окурки. Махровые и рыжие пятна.

Галдеж утихал по мере того, как пили. Другие во хмелю начинают кричать, буянить, а эти — от рюмки к рюмке, от бутылки к бутылке — смолкали и цепенели. Глобову даже казалось, что с каждым глотком они постепенно трезвеют.

Освелым, сосредоточенным взглядом озирают свои ряды, прислушиваются.

Какой-то юнец, должно быть, простой лейтенантик, не выдержал: — А я вчера в «Метрополе» смотрел «Падение Берлина»...

К нему, как к магниту, со всех концов потянулись шеи и уши. Выжидательно замерли.

— Очень понравилось! — взвизгнул оратор, напуганный общим вниманием. — Всем советую. Очень, очень...

И торопливо заткнул рот первой попавшейся семгой.

Наступила тишина. Даже чокаться перестали. Молча пили, молча закусывали. Так же молча они умрут, если будет нужно.

Следователь Аркадий Гаврилыч едва держался на стуле.

— Ты о ком спрашиваешь, прокурор? Какой такой Рабинович? Знать не знаю, ведать не ведаю никаких Рабиновичей. Что? Сам рассказывал? Тебе приснилось.

В глазах, иссеченных красными жилками, застыло искреннее недоумение.

— Молодцы, ребята! Бдительно пьете, — подмигнул ему Глобов.

Он ждал, что при этих словах вся команда встанет на вытяжку и звонким шопотом рявкнет: — Рады стараться! Но все были пьяны, все были немые, как рыба, которую они ели среди других закусок.



Чтобы запутать следы, Катя шла пешком. Тетрадку несла в рукаве. Рвала листок за листочком. Бумажные крошки перетирала в ладонях и незаметно, по частям ссыпала на мостовую.

За нею следили. Кто именно — установить она не могла, сколько ни оглядывалась. Уж очень людно было вокруг. Народ валил, не разбирая дороги, на вечернее гулянье, на праздничную иллюминацию.

Город сегодня походил на препарат кровеносной системы. В школе, на уроке анатомии, показывали, как что устроено. Человек, перепилен пополам, облупленный до последнего капилляра, состоит из множества ветвистых сосудов различной толщины и окраски.

Еще больше их было здесь освежавано для вечерней потехи. По стекленеющим жилам домов, во все концы, пунктиром, струилась охлажденная кровь. Она горела преувеличенным, сверхэлектрическим светом.

Перед домом Сережи Катя остановилась. Перешла на другую сторону. Его окна темнели, как две могилы. Катя сложила пальцы крест на крест, чтоб сдуру не накликать беды.

Но было поздно. Беда уже приключилась. Снял Юрий Михайлович трубку, позвонил, куда надо, пока она бежала по лестнице, и в окнах стало темно. А, может, еще не звонил, и Сережа спокойно спит, позабыв про несчастную Катю. Или гуляет с другими, обсуждая троцкистские планы. Все равно — ничем не поможешь. И она сама виновата: разбросала бумажки. По ним, как по следу, найдут его дом и квартиру.

Далеко, сзади уже началась погоня. Уже шарили по мостовой, искали под калошами, в лужах. Нагибались.

К завтраму все клочки будут собраны вместе, разглажены утюгом, склеены синдиτικοном. И все двадцать четыре листка, неистребимых как гидра, у которой головы отрастают, в синей обертке, разграфленные в косую линейку, и вся расписанная мелким почерком мелкобуржуазная программа Сережи. На виду. На суде. На справедливом, страшном суде.

Земля подпрыгнула. В небо откинутае назад, взмыли чугунные трубы. Это прорвалась аорта, где-то за универмагом. Нужен жгут. Но перевязать не успели: лопнули другие сосуды. И разноцветная кровь брызнула фонтаном в зенит.

Под гром салюта Катя возвращалась домой. Она не задирала голову вверх, не считала залпы орудий. Каждый новый удар ей казался последним. Вот сейчас иссякнут артерии, вытекут дырявые вены, и огромное рваное сердце задохнется в сердечном припадке. А оно все стучало и стучало, содрагая асфальт под ногами, озаряя лица прохожих то розовым, то зеленым сияньем.

Катя загадала: если стукнет пять раз, она пойдет к директору школы, или в райком, или куда-нибудь дальше. Завтра же. Тайком от Сережи спасет его, распутает шпионские сети, объяснит, что вышла ошибка, что Юрий Михайлович все врёт и общая польза главнее.

На четвертом ударе Катя еще надеялась — не дотянет. Но сердце остановилось только на пятом. И сразу так тихо, что захотелось лечь в постель и наплакаться вволю. В конце концов, она имела на это право. Уж это-то право у нее никто не отнимет.



Глубокой ночью, когда погаснут огни, и люди, утомлен-

ные праздником, заснут непробудно и сладко, на опустелые улицы города выходят двое в штатском. Прогуливаясь по участку, им отведенному свыше, они мечтают о чем-то или ведут вполголоса задушевные разговоры. Одного зовут Витя, другого — Толя. Большего знать — нам не дано.

Толя говорит Вите :

— Послушай, Витя. Пора бы и канализацию приспособить к настоящему делу. Ведь столько тайного материала бесконтрольно уплывает по трубам! Проекты, конспекты, любовные письма, черновики художественных произведений и даже беловики.

Рассказывают, писатель Гоголь, живший в девятнадцатом веке, сунул в печку свою поэму под названием « Мертвые души ». До сих пор никому неизвестно, про что он там сочинял.

А теперь жечь — негде : центральное отопление. Теперь всякий норовит свои секреты разорвать на мелкие части и спустить в унитаз, чтоб полное инкогнито соблюсти. Это надо учесть.

Поставить, к примеру, под каждым домом особую драгу или сито и дворникам строго настрою — изымать исписанную бумагу. Ну, а неподдельные нечистоты, пипифакс, газеты пускай уж плывут, куда им хочется, на свободу. « Плыви, мой челн, по воле волн... » Как ты считаешь, Витя, подойдет ?

Витя задумчиво молчал, оглядывая пустую окрестность. Потом сказал мягко :

— Это не научный подход во всяком дерьме копать. Меня, откровенно говоря, Гоголь не занимает. А вот есть такой писатель по фамилии Герберт Уэллс. Ты « Борьба миров » и « Человек-невидимка » читал ?

— Нет, не читал, — грустно признался Толя.

— А я его « Машину времени » почти наизусть выучил. Однако в данный момент лично меня другое изобретенье волнует. Тоже научно-фантастическое. Аппарат — мыслескоп. Вроде твоей драги, только еще doskonальнее. Мысли и разные переживания угадывать. Чтобы даже тех, которые устно молчат и письменно не высказываются, контролировать автоматически. В любой час и на любом расстоянии. Здорово ?

— Как ты его называешь, Витя ?

— Аппарат-мыслескоп.

— Да, мыслескоп — это вещь.

Оба смолкли и погрузились в мечты. Но мечтали они согласованно, об одном. Вот о чем.

В наш век — век телевидения и радиолокации, в эпоху атомной энергии, направляемой к мирной цели, — хорошо бы в каждом районе завести свой мыслескоп. Сижу, например, я, вредоносный элемент, в своей малонаселенной квартире и заранее знаю, что все мои безыдейные мысли и преступные планы в районном мыслескопическом пункте будут видны, как в кино. И стараюсь я не думать ничего такого. Все о невинных вещах размышляю, насчет баб, да чтобы выпить или даже про то, как честно трудиться на благо народа. А самого так и подмывает о чем-нибудь недоступном подумать. Корчусь в своем кресле, арифметические задачки решаю, чтобы отвлечься.

Не тут-то было. Просочилась в голову гнилая идея : как бы мне, думаю, научиться думать невидимо ? Я ее — геометрией, дифференциалами, спряжением глагольных форм из церковно-славянского языка. Стихотворение Лермонтова « Выхожу один я на дорогу » четыре раза подряд декламировал. А она, гадюка, так и лезет, развивается : как бы, думаю, еще одну революцию сделать ? На этом самом месте меня цап-царап.

— Здравствуйте, гражданин. Вы это о чем четыре минуты семнадцать седунд тому назад рассуждали ? Нам все известно. Если не верите, можем пленочку предъявить.

— Не отрекаюсь — виноват. Я — презренный наймит одной иностранной державы. С детских лет озабочен реставрацией капитализма и подпиливанием железнодорожных мостов...

Тишина ! Двое в штатском ходят по городу. Двое в штатском. Медленно, степенно шествуют они по заснувшим улицам, заглядывают в помертвелые окна, подворотни, подъезды. Ни души.

Одного зовут Витя, а другого Толя. И мне боязно.

Г Л А В А VI

Несмотря на морозы, Екатерина Петровна каждый день — в подшитых валенках и в шапке-ушанке — наведывалась в прокуратуру. Ее частые визиты были неуместны. Но прямо сказать об этом Глобов не решался. После ареста Сережи старуха совсем очумела. Придиралась пуще прежнего. И секретарь, почтительно посмеиваясь, всякий раз докладывал :

— К Вам, Владимир Петрович, опять эта пожилая особа — в валенках. Прикажете пропустить ?

Бывшая теща, расхаживая по кабинету, бубнила :

— Не может быть. Не верю. Ни в шпионаж, ни в диверсию.

А Глобов — в который раз — допытывался :

— При обыске в его вещах нашли что-нибудь криминальное ?

— Ничего, ничего . . .

От валенок по паркету расплзались грязные лужи. После ее ухода Владимир Петрович, заперев дверь на ключ, собственноручно вытирал пол тряпкой, принесенной из дому и спрятанной под шкафом. А потом набирал номер и спрашивал :

— Это ты, Аркадий Гаврилыч ? Говорит Глобов. Что-нибудь новое есть ?

Тот сухо отвечал :

— Пока ничего.

И вешал трубку. И теперь так бывало каждый день.

◆

Каждый день, возвращаясь с работы, Юрий умывался и радовался. Видеть мыльную грязь было почему-то приятно. Это всегда так : чем грязнее вода стекает от тебя в умывальник, тем оно и приятнее. Вероятно, подобное чувство испытывают в минуту исповеди.

Если Марина придет, он сможет чистыми пальцами трогать ее лицо. Около самых губ. Надо еще намылить : вдруг сегодня придет.

Последние месяцы он все делал с расчетом. Отдаленная цель, приближаясь, поглошала его без остатка. Он жил, чтобы овладеть Мариной. Даже спал и ел с умыслом — подкрепиться для встречи. Чистил зубы, будто готовился к поцелуям. И день проходил за днем, чтобы дать ей время соскучиться и, помедлив для приличия, капитулировать.

Постучали. Он выждал, пока уймется дрожь в коленках, и распахнул дверь.

То была не Марина. Соседка, стараясь поглубже втиснуться в комнату, протягивала конверт и сладострастно шептала :

— Это Вам девушка оставила. Молоденькая, словно бутончик.

А Марине будет лестно прослыть молоденькой девушкой, это надо ей передать, — соображал он, вскрывая письмо.

« Тов. Карлинский ! Вы предательски донесли на Сергея

Владимировича, а он все равно не троцкист, а честный революционер, а Вы — трус и подлец ».

Юрий повертел письмецо, заглянул в конверт еще раз и, ничего не найдя больше, отложил для коллекции. При случае он расскажет Марине об этом эксперименте. Она будет очень смеяться.

Потом, как Понтий Пилат, Юрий вымыл руки. О Сереже, о Кате вспоминать ему не хотелось. Понтий, наверное, мало думал про Иисуса Христа, когда ходил умываться. У Понтия, может быть, тоже имелась своя цель, не известная евангелистам.

Насухо обтерев полотенцем каждый палец в отдельности, он повернулся к двери и топнул ногой :

— Где же Вы, Марина Павловна ? Я жду Вас. Я — готов.

◆

Следователь вышивал по канве. Узор для скатерки был выбран самый изысканный : по черному полю прихотливо извивались тюльпаны.

Когда приводили Сережу, он сворачивал шитье, подбирая разбросанное по всему столу мулине и, заперев рукоделие в сейф, начинал дружескую беседу. Все пока шло начистоту.

— Да, это Вы тонко заметили. Ничего не скажешь. Такими мнениями наверху очень интересуются . . . А вот колхозы, с ними как быть ? Здесь ведь тоже . . . Сами знаете . . .

Слушая про колхозы, он сокрушенно вздыхал. Иногда спорил, иногда соглашался, и они двигались дальше.

— Печать тоже, знаете, откровенно говоря . . .

Сережа и в область печати вносил свои предложения, удивляясь тому, что его до сих пор не выпускают.

— Ну-с, молодой человек, — сказал, наконец, следователь, — взгляды наши мы обсудили подробно. Хотелось бы еще уточнить — как Вам удалось войти в контакт с иностранной разведкой.

Всем сочувственным видом он словно поощрял : Не стесняйтесь. Чего уж скрывать ? Все там будем. Экая важность !

— Оставьте глупые шутки, — побледнел Сережа. — Я еще не осужденный, я — подсудимый.

Следователь усмехнулся и раздвинул шторы. Дневной свет был так чист и прозрачен, что хотелось вдохнуть его всей грудью.

— Подойди сюда. Слышишь ? Тебе говорю.

Сейчас ударит, — подумал Сережа, деревенея лицом.

— Глянь в окно !

Сережа увидел площадь, на которой бывал раньше, увидел вход в метро с нырявшими туда человечками, маленькие троллейбусы и автомобили, в которых тоже ехали люди, и каждый ехал куда хотел. А сверху падал снег, живой настоящий снег.

— Вон они где — подсудимые. Видал — сколько ?

Следователь показал на снующую под ними толпу. Потом погладил Сережу по стриженной голове и ласково пояснил :

— А ты, брат, уже не подсудимый. Ты — осужденный.

Хлопоты были бесполезны. Ему уже намекнули в одной высокой инстанции :

— Лучше не суйся. Тебе доверяют — можешь быть спокоен. А вступаться за него не советуем. Только себя запачкаешь. Забудь и рожай другого, пока способен. А этот — этот тебе не сын.

Но бабушка не унималась :

— Хлопчи ! Добивайся ! Или ты — не отец ?

Отец ! У других дети — как дети. Институты кончают. Аспирантуру. Даже у Скромных мальчишка попался, так по крайней мере на краже. Отец его выпорол для острастки — и концы в воду. А это — надо же ? Из десятилетки — в тюрьму — отцовское имя позорить. Да еще в такое время !

— Нет, мамаша, — ответил Глобов, глядя на ее мокрые валенки. — Идут большие аресты. Не могу.

— Что Вы сказали ? Боюсь ? Не то слово. Разве я когда боялся ? Меня все боялись . . . Я же — прокурор, поймите. Мне совесть не позволяет. Я — людей, может быть, менее виновных, ежедневно . . .

— Чье это будущее ? Мое ? Обойдусь как-нибудь без будущего. Предатель — мне не сын.

— Оставьте. При чем здесь честное слово революционерки ? Старомодно звучит, Екатерина Петровна. А мне достоверно известно . . .

— Э, нет. Это Вы напрасно. Сына терять не легко . . .

— Довольно попреков ! Вы сами . . . А брата, брата забили ? Удрал за границу, так Вы, небось . . .

— Я и раньше догадывался. Но если бы я знал, до какой степени . . .

— Да ты рехнулась, старуха ! Не выдавал я его. Слышишь ? Не выдавал.

— Отойди. Не хватайся руками. Руки, руки убери !

— Рассказывал я тебе — кто донес. Девчонка из его же компании. Мне учитель шепнул. Историк. Пришла к директору . . . Вроде для совета . . . Тот хотел замять, но . . .

— Девочка, девочка, говорят тебе русским языком.

— Ну, знаешь. Это слишком. Ни девочек, ни мальчиков я еще не душил. А вот врагов . . .

— Замолчи, старая ведьма, пока тебя не посадили ! После таких слов я не желаю больше . . .

— Вот и прекрасно. Двадцать пять лет опекала. Хватит с меня твоего контроля.

— И не надо. Не приходи.

Когда старуха ушла, Владимир Петрович передохнул несколько минут и вызвал секретаря. Небрежным тоном, каким обычно говорят о посторонних лицах, он распорядился :

— Пришлите уборщицу. Пусть оботрет паркет после этой гражданки. Наследила как в конюшне, своими валенками.

Зазвонил телефон. Марина оставила карты, раскиданные в замысловатом пасьянсе, но трубку не сняла. Склонившись над аппаратом, она с любопытством слушала протяжные звонки.

Ей вдруг почудилось, что трубка легонько подпрыгивает. Вот-вот она сама собою соскочит с кривых рогулек, и раздраженный голос Карлинского загнусавет на столике : — Прячетесь ? Подойти не желаете ? Считайте наши отношения порванными !

Возможность разоблачения была так близка, что Марина перешла в соседнюю комнату и оттуда, невидимая, в полной безопасности, внимала телефонным звонкам.

— Как он мучается, бедный, как он хочет меня ! — думала она, торжествуя и вздрагивая при каждом новом трезвоне.

Уж третий месяц Юрий грозил уйти. Или она уступит — или они расстанутся. — Не желаю ни того, ни другого, — отнекивалась Марина. Тогда он дал ей две недели « на женские капризы » и удалился, донимая любовью, пугая одиночеством. Срок подходил к концу.

Телефон, прозвонив ее до мигрени, обиженно смолк, и Марина вернулась на кушетку — к своим картам и сомнениям. Они — совпадали. Были слезы, были письма, были дальние дороги и казенные дома, пара неизвестных валетов обещала приятные хлопоты, но короли от нее уходили один за другим.

Марина не верила в карты, но была вынуждена признать, что с мужем в последнее время — и впрямь — все разладилось. Он перестал ей докучать своими беседами о креп-

кой семье и взаимопонимании между супругами. Целыми вечерами пропадал где-то и, казалось, забыл, что они — хоть и в споре — живут под одной крышей.

Тут еще Сережу посадили некстати, и всех знакомых мужчин точно ветром сдуло. Даже Скромных носа не кажет.

Только пиковый король еще оставался при ней. Отпустить его так просто она не могла. Кто, если не он, щедро, по-королевски, оценит ее красоту, и какая это красота без признаний и домогательств?

— Вы — моя цель, мой Бог, — любил повторять Юрий, доказывая, с присущей ему эрудицией, что высокая цель нуждается в средствах, хотя бы ее не достойных, и что Бог, которого, к сожалению, нет, очень страдал бы от одиночества, если б не придумал человека для поклонения себе и прочих услуг.

Да, это — верно. Разве женщина не самое одинокое существо в мире, разве есть что-нибудь горше ее одиночества?

Хлопнула парадная дверь, шаги мужа загромыхали в передней.

— Ты — дома? — удивился он через стенку, когда Марина откликнулась. — А мне деньги были нужны, хотел уж курьера послать. Так секретарь минут десять — подряд — сюда колотился. Никто не подошел к телефону.

— Я спала, — солгала она машинально и не слишком удачно, потому что муж хорошо знал, как чуток ее сон. Гораздо правдоподобнее было бы вернуться недавно с прогулки или из магазина. Но Владимир Петрович не возразил и не остановился у входа в ее комнату, как это бывало раньше, а промаршировал мимо. Щелкнул замок в кабинете — муж заперся.

Только тут она поняла, что Карлинский ей не позвонит ни сегодня, ни завтра. Быть может, он уж не ждет ее больше. И даже не требует от нее никаких мерзких уступок.

Подойдя к зеркалу и увидав свое огорченное, стареющее с каждым днем лицо, она хотела было заплакать, но вовремя вспомнила, что этого делать нельзя: от слез морщится кожа.



В ту ночь Глобов запил. Впрочем, после коньяка и водки он даже не опьянел нисколько, а лишь почувствовал в сердце такую нежность, что принялся шагать из угла в угол, бормоча колыбельную песенку:

Баю-баюшки-баю,
А я песенку спою.

Вот и все слова. Он мог себе это позволить. Его никто не видел, никто не слышал. Он был один.

Руки, сплетенные на груди, сами обняли его и понесли. Владимир Петрович любил и баюкал свое большое, несуразное тулово. Ему было уютно рядом с ним, таким родным и давно не мытым. Оно прижималось, благодарно сопело, уткнувшись в сорочку, покачиваясь в такт колыбельной.

Баю-баюшки-баю,
А я песенку спою.
А я песенку спою.
Баю-баюшки-баю,

Долго-долго, до бесконечности.

А на руках — будто девочка. Маленькая, неродившаяся дочка.

— Спи, милая, спи, моя умница, — уговаривал он, хлопая по тепленькой спинке. — Все спят. Играть тебе не с кем, Сережки нет дома, Сережка обманул нас, покинул. Он чужой нам, Сережка. Он — бяка.

Чтобы она быстрее заснула, Глобов на мотив колыбельной начал перекладывать песни, какие знал. Все они были почему-то про войну, и он часто сбивался с напева, баюкая слишком размашисто, по-боевому.

Его прервали. Визгливый голос Марины доносился из коридора и мешал петь. Тогда он уложил девочку на диван, прикрыл кителем и, спрятав бутылки под стол, отпер кабинет.

По его виду Марина все поняла. Но оставаться одной в спальне казалось еще страшнее.

— Пусти, Володя. Я не могу заснуть. Мне страшно без тебя, — говорила она, дрожа от холода и унижения. А он стоял перед нею, лохматый, в нижнем белье, и загораживал проход своим огромным, разросшимся телом.

Марина его называла пупсиком и киской (а какая он — киска? он — не киска, а прокурор), просилась к нему на диван (ишь ты! уже пронюхала) и обещала не сердиться за шум, поднятый по всей квартире. Она брала его руки, тяжелые как весла, и, распахнув халат, клала себе на грудь, прижимала к бедрам. Поборов отвращение, Марина гладила себя его руками, но они безучастно падали, как только их отпускали. А когда она попробовала столкнуть его с порога и силой войти в кабинет, Владимир Петрович просто шагнул в то место, где она суетилась и, отодвинув назад, запел дверь.

...Бутылки были целы. Но девочки под кителем не оказалось. Должно быть, он, убаюкивая, слишком нежно стиснул животик и раздавил ненароком. Или, что вероятней, ее похитили, пока он возился с Мариной.

Ну, конечно! Как он сразу не догадался? Это Марина все и подстроила. Она уже один раз убила его дочку и теперь снова к тому же вела, шлюха. Недаром ластилась, на диван просилась. Диван ей, видите ли, понадобился!

А когда он разгадал ее уловки, Марина подослала врачей убийц во главе с самим Рабиновичем. Своими красотами она отвлекала внимание, а убийцы в белых халатах, растоптав священное знамя науки, тем временем, за его спиной, свершали черное дело.

В гардеробе кто-то сидел и не шевелился. Тогда Владимир Петрович снял со стены шашку — именное оружие настоящей кавказской закалки, поднесенное в знак уважения 4-ым конногвардейским полком.

Гардероб поддался с двух ударов. Только стекла звенели, да щепки летели, да сыпалась со стен штукатурка. А враги, ускользнув обманным путем, попрятались в щели, окопались по всем углам.

Напрасно Марина кричала под дверь, чтоб он прекратил безобразие, грозила, что уйдет из дому, будет изменять, покончит с собой, донесет в парторганизацию про то, что он — алкоголик. Нет, не проведешь! Теперь твои приемы всему миру известны! И в радостном остервенении он рубил, колот, кромсал все, что попадалось под руку.

Ему не было жаль ни карельской березы, ни хрусталя, ни пуховых подушек. К чему эта жалкая утварь? Когда враги проникли в твой дом, нужно все истребить вокруг и самый дом стереть с лица земли с засевшими там врагами.

Отскочив от стены, шашка крепко ударила его по голове, разбила люстру. Но и во мраке, обливаясь кровью, он продолжал наносить удары в воздух, в пустоту — всюду, где они притаились.

Закончив труд, прокурор подошел к письменному столу, изрубленному вдоль и поперек. Там, у окна, белел в темноте чудом уцелевший бюст. Прокурор вложил шашку в ножны и отпрапортовал:

— Хозяин! Враги бегут! Они убили мою дочь, украли сына. Жена предала меня, и мать отреклась. Но я стою перед тобою, израненный, оставленный всеми, и говорю: Цель достигнута! Мы победили! Ты слышишь, Хозяин, — мы победили. Ты слышишь меня?

ГЛАВА VII

Хозяин умер.

Сразу стало пустынно. Хотелось сесть и, подняв лицо к небу, забыть, как воют бездомные псы.

Они бродят по всей земле, потерявшие хозяев собаки, и нюхают воздух: тоскуют. Никогда не лают, а только рычат. С поджатым хвостом. А если виляют, то так — словно плачут.

Завидя человека, они отбегают в сторону и долго смотрят — не он ли? — но не подходят.

Они ждут, они всегда ждут и просят кого-то протяжным взглядом: — О приди! Накорми! Ударь! Бей, сколько хочешь (не слишком сильно, пожалуйста). Но только приди!

И я верю: он придет, справедливый и строгий. Он заставит визжать от боли и прыгать на цепи. И ты подползешь к нему на брюхе, заглянешь в глаза и положишь ему на колени лохматую голову. А он будет хлопать по ней ладонью, и смеяться, и ворчать что-то успокоительное на мудренном хозяйском наречье. А когда он заснет, ты будешь стеречь его дом и брехать на всех проходящих...

Кое-где уже слышен скулеж:

— Давайте жить на свободе и резвиться, как волки.

Но я знаю, я слишком хорошо знаю, что они жрали раньше, эти продажные твари — пуделя, болонки и мопсы. И я не хочу свободы. Мне нужен Хозяин.

Ах, какая собачья тоска! Где утолю мой пронзительный, долгий, годами не кормленный голод?

Сколько их затеряно в мире, бездомных бродячих собак!

О, суки с продолговатыми глазами и тонкими кусачими мордами! О, злые, выдавшие виды, одинокие кобели!



Его обмыли, набальзамировали, положили на постамент.

Несметные толпы бежали к нему — проститься и посмотреть. Они вливались со всех улиц в сжатое домами пространство и там застревали.

Выход был один — туда, где в цветах, под караулом покоилось мертвое тело.

Но туда — не пускали: ждали распоряжений. А распоряжений все не было. Потому что тот, кто распоряжался, теперь лежал мертвый.

Площадь, утоптанная ногами, стала тесна. Она не вме-

щала столько желающих проститься и посмотреть. А люди все прибывали, их становилось больше и больше с каждой минутой. И когда открыли узкий проход, было уже поздно. Кто-то гаркнул, радуясь случаю продрать звонкую глотку:

— Ребята! Нас предали! Мы — в жопе!

И тут началась давка.



Окно завесили ковром и свет потушили, как требовала Марина. Зрение перешло в кончики пальцев. Юрию казалось, что они у него моргают.

Раздевая Марину, он мог созерцать всю сложность ее устройства: арки, абсиды, купола. Луковицы православных соборов, похожие на груди, и стрелчатые ворота, как заостренный книзу живот.

Но всюду преобладала гитара: плечи — талия — таз. Недаром гитару и скрипку так любил Пикассо: это женское тело в разрезе.

А желанья — не было.

Юрий напомнил себе, с каким нетерпением влекся он к этой цели, на какие средства пускался ради нее... Желанья — не было.

А вдруг совсем не получится? — встревожился он, понимая, что нельзя ему нервничать, что мужчина в таких случаях должен быть спокоен, как фокусник, от которого ожидают чудес. И пугаясь все больше и больше своего волнения, он хватался руками за абсиды, купола, арки, расположенные перед ним. Если не страсть, то хоть чуточку вождения пытался он выклянчить у своей немощной плоти, предавшей его так позорно, так глупо в самый последний момент.

Пружины кровати звенели семиструнной гитарой.

Юрий стиснул зубы и поднапрягся, будто выжимал гири по три пуда каждая. Наконец, он вызвал в памяти пачку порнографических открыток, что с давних времен хранил в укромном местечке, и, перебирая мысленно самые непристойные, молился Богу: — Господи! Помоги!

А женщина идеальной конструкции недвижно лежала рядом, предоставив ему как угодно мучиться над ней. Всею опустелой душой, всем изнывающим от бесплодной работы телом Юрий ненавидел ее — достигнутую и недоступную, — мечтая лишь о том, с каким наслаждением он выгонит ее вон, как только это будет возможно.

— Что, Юрий Михайлови, Вы добились цели? — на-

смешливо спросила Марина. — Почему же Вы медлите?

Юрий, не отвечая, зажмурился, хотя в полной темноте закрывать глаза было бесполезно.



Как это могло случиться, прокурор плохо понимал. Он стоял чинно, вместе со всеми, ожидая, когда будут пускать, и вдруг увидел, что толпа несет его, вращая по спирали, — через площадь, к узкому, точно траншея, проходу.

Стоило добраться туда, и открывая прямой путь к центру города, где в цветах, на постаменте покоился усопший Хозяин. И прокурор по мере сил помогал тащить себя в этом направлении, хотя перебирать ногами в тесноте было так же затруднительно, как говорить с набитым ртом.

Но чем ближе и быстрее придвигался он к цели, тем больше его относил в сторону. А спираль, закручиваясь до предела, валила с ног.

Люди лезли друг через друга и, спотыкаясь, падали. На место одного опрокинутого вставало пятеро свежих, и борьба не затухала. Каждый стремился проникнуть в узкий, точно траншея, проход.

Прокурор был слишком солиден, чтобы принимать участие в свалке. Он не лез, не толкался, не произносил бранных слов. Но чья-то могучая рука, шириною во всю площадь, схватила его поперек тела, стиснула в кулаке, так что он едва не задохся, и, чуть приподняв над землей, пошла гвоздить направо и налево.

— Пусти! Мне больно! — стонал прокурор. — Здесь все свои. Они ни в чем не виноваты. Здесь много женщин, детей, есть даже инвалиды войны, что принесли тебе славу.

Но рука не выпускала его из цепких, намертво сжатых пальцев. Скорбя и ожесточаясь, она била и била им, как дубиной, воющую от боли толпу.



Спешить было некуда. Марина постояла у киоска, где продовались газеты, траурные, будто женщины с подведенными тушью ресницами. Потом, повернувшись спиной к надоедливой улице, разглядывала незажженную витрину косметического магазина.

Там, как в плохом зеркале, она увидела себя. По ней

шагали люди, ехали троллейбусы, пронизанные флаконами духов и пирамидами разноцветного мыла.

— От всех этих средств красота портится, — думала она, поглядывая исподлобья на свое отражение. Но лицо ее, замутненное стыдом и злобой, истоптанное тенями прохожих, было еще достаточно красиво.

— Завтра же испробую аргентинскую губную помаду, — решила Марина.



Ему удалось уйти. Под грузовую машину, через ограду бульвара, ободрав ноги, без шапки... Бульвар был пуст и просторен.

— Девочку, девочку задавили! — донеслось сзади.

Там, в полутемном проулке, собрались успевшие выскользнуть. Они радовались, что легко отделались, поминили какую-то девочку:

— Задавили! Задавили!

— Это — не про мою. Моя — сама упала. Никто ее не давил. И стекла ей в очках раньше меня выбили, и возрастом она уж не девочка, а совершеннолетняя.

— Девочка, девочка, — упрямо твердили в толпе. — Задержать надо виновного... Под машину уполз... Чего рты разинули? Виновного, виновного...

— Моя — сама виновата. Пускай не суется под ноги. Я сам упал. А виновных здесь нет. Без жертв не обойтись. Зато — во имя цели.

Итти дальше не было сил. Он прилег отдохнуть в теплый, как парное молоко, снег. Пососедству, за сугробом, все еще искали виновного, толковали про неизвестную девочку:

— Может, это вредитель какой, диверсант, враг народа? Давку-то кто устроил? Милицию бы сюда! Следователя, прокурора! Судить таких надо! Судить!

Э П И Л О Г

Возле реки Колымы, за пригорком, мы копали канаву — Сережа, Рабинович и я.

Я прибыл в тот лагерь позже других, летом пятьдесят шестого. Повесть, для завершения которой не хватало лишь эпилога, стала известна в одной высокой инстанции. Подвела меня, как и следовало ожидать, упомянутая ранее

драга, поставленная в канализационной трубе нашего дома. Черновики, что всякое утро я добросовестно пускал в унитаз, непосредственно поступали на стол к следователю Скромных. И хотя важное лицо, чей приказ я выполнил, может быть, недостаточно точно, к этому времени уже умерло и даже подверглось переоценке со стороны широкой общественности, меня все-таки привлекли к дознанию за клевету, порнографию и разглашение государственной тайны.

Я не отрицался: улики были налицо. К тому же Владимир Петрович Глобов, вызванный в качестве свидетеля, представил документы, неопровержимо доказывающие полную мою виновность. Все, что я написал, как это установило следствие, являлось плодом злого умысла, праздного вымысла и больного воображения.

Особое нареkanie вызвал тот факт, что положительные герои (прокурор Глобов, адвокат Карлинский, домохозяйка Марина, двое в штатском и т. д.) не обрисованы здесь многогранно в их трудовой практике, а злопыхательски выставлены перед читателем нетипичными сторонами. Отрицательные же персонажи (детоубийца Рабинович, диверсант Сережа и его соучастница Катя, слишком поздно осознавшая свои ошибки и за это растоптанная ногами возмущенного народа) хоть и были наказаны по заслугам в моем клеветническом произведении, но не разоблачены до конца в своей реакционной основе.

Не рассчитывая на снисхождение, я просил только о том, чтобы мне разрешили, учтя критику, хотя б в эпилоге произвести некоторые коррективы, проливающие должный свет на моих персонажей. Мне позволили это сделать, но в процессе собственного перевоспитания, без отрыва от земляных работ, предусмотренных на Колыме.

Попав сюда, я вскоре пристроился к Сереже и Рабиновичу. Добиться, чтобы нас поселили в одной землянке и стерегли совместно, было нетрудно. После амнистии лагерь опустел. Нас, крупных преступников, здесь осталось каких-нибудь тысяч десять. Начальство смягчилось и разрешило создать ударную бригаду в составе трех человек, выделив нам персонального конвоира с хорошим автоматом.

Впрочем, в нашей бригаде по-ударному трудился один Сережа, полагавший, что необходимо способствовать приближению прекрасного будущего. Мы с Рабиновичем по старости лет от него отставали.

Сережа рьяно насаждал среди нас принципы новой мо-

рали. Пайку хлеба в 400 грамм, что я получал ежедневно, складывали с аналогичными пайками моих друзей. Всем этим хлебом заведывал у нас Рабинович, и, когда наступало время обеда, мы 1 кг 200 гр. делили на три части.

— Какая в этом польза? — удивлялся я. — Все равно каждый съедает свои 400 грамм и даже меньше, потому что Рабинович тайком откусывает по кусочку от чужих паек.

— Ничего, ничего! — подбадривал меня Сережа. — Недорого пайка, дорог принцип равного распределения продуктов.

Однажды, выгребая лопатой мерзлую землю, я улучил момент:

— Скажите, Сережа, что пишет из столицы Ваш уважаемый папа?

Тот с напускным равнодушием передернул плечами:

— Мы не переписываемся, сочинитель (меня за былую профессию прозвали здесь сочинителем). Бабушка сообщала как-то, что его повысили в должности.

— Вот видите, Сережа! — воскликнул я, радуясь поводу поговорить на волнующую меня тему. — Видите, каких высот достиг этот государственный деятель! Можете не сомневаться в моей искренности, я люблю Вашего отца давней, неразделенной любовью. Мне дорог Емельян Пугачев, обернувшийся Александром Суворовым, грохот танков по булыжнику, бешеный рев радиорепродукторов — вся изысканная аляповатость героической нашей эпохи, что гордо шествует по земле, звеня орденами и медалями.

И если я вопреки указаниям свыше не защитил Вашего папу своим щуплым телом, то, поверьте, я искал только случая свершить этот подвиг, а случай спасти Вашего папу так и не вышел. Он сам всех спасал, сам всех преследовал. О, когда б его побивали камнями! С какой радостью я умер бы за него и вместо него! Но его не побивали...

Наверное, мои излияния были неприятны Сереже, и он переменял разговор:

— Да, сочинитель. Отец считает меня вероотступником. А вот мачеха, Марина Павловна, кто бы мог подумать! Вчера от нее получил посылку.

— Узнаю вас, русские женщины! — восхитился я, глотая слюнки. — Со времен декабристок! Княгиня Волконская, Трубецкая. Помните — у Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». А в посылке-то что?

— Коробка шоколадных конфет с ликером.

— И все?

— Все.

Делать было нечего. Хорошо хоть с ликером. Мы подарили нашему конвоиру половину посылки, а сами, не вылезая из канавы, устроили роскошный пикник.

Как всегда в минуты отдыха нас развлекал Рабинович. С ним последнее время творилось что-то странное. Может быть, он помешался из-за врачей-убийц, которых признали невинными. По их делу его осудили, но реабилитировать почему-то забыли. А скорее всего он просто напроосто с обычной еврейской хитростью прикидывался ненормальным, памятуя, что к душевнобольным относятся у нас снисходительно и частенько выпускают в сумасшедший дом.

Во всяком случае речи его с некоторых пор стали темны и невразумительны. Он все рассуждал о боге, об истории, о каких-то целях и средствах. Иногда получалось очень смешно.

Вот и сейчас, доев последнюю шоколадку, он вытащил из-под ватника забавную железку, покрытую ржавчиной и землей.

— Нет, гражданин сочинитель, как Вам это нравится? — обратился он ко мне, бессмысленно улыбаясь.

— Археологическая находка! — обрадовался Сережа и тут же зафантазировал: — Здесь путешествовал в каком-нибудь шестнадцатом веке или даже раньше никому неизвестный Ермак. Быть может, — до самой Америки! опередил Христофора Колумба! Надо — в музей, под стекло, для поддержания приоритета!

— Приоритет несомненен, однако, начальству сдать придется, — соображал я. — Все-таки холодное оружие.

Это был меч, наполовину изъеденный сыростью, с массивной рукояткой в виде распятия.

— Как Вам нравится? — вопрошал Рабинович. — Бога, обратите внимание, куда присобачили. К оружию смертоубийства — держалка! Скажете — нет? Был целью, а сделался средством. Чтобы хвататься сподручнее. А меч — в обратную сторону: был средством, стал целью. Переменялись местами. Ай-я-яй! Где теперь Бог, где меч? В извечной мерзлоте и меч, и Бог.

— Оставьте в покое Ваши религиозные пережитки, — сказал я и опасливо отодвинулся (видно, недаром попал сюда этот гражданин Рабинович). — Всеми миру известно

— никакого бога нет. Не в бога нужно верить, а в диалектику.

Как он тут всполошился, этот хилый еврей, обстриженный под машинку, в рваных опорках, замазанных грязью, с ржавым мечом подмышкой.

— Да я что? Разве ж я спору? Никогда в жизни!

Схватив меч в обе руки, он поднял его, как зонтик, и затыкал прямо в небо, нависшее над нашей канавой.

— Во имя Бога! С помощью Бога! Взамен Бога! Против Бога! — приговаривал он, будто натуральный безумец. — И вот Бога нет. Осталась одна диалектика. Скорее для новой цели куйте новый меч!

Я хотел ему возразить, как вдруг солдат, что предохранял нас от побега, проснулся на своем пригорке и закричал:

— Эй, вы, в канаве! Довольно чесать языком! Работать пора!

Мы дружно взялись за лопаты.

Абрам ТЕРЦ

Wydawca: Edition et Librairie „LIBELLA”
12, rue St-Louis-en-l'Île, Paris (4^e)

Directeur-gérant: Mme Christiane Karasiewicz
Dépôt légal: 2^e trimestre 1960



Tom XXXVII BIBLIOTEKI " KULTURY "

JURIJ ŁAWRYNENKO
ROZSTRZELANE ODRODZENIE

1917-1934

Antologia w języku ukraińskim

POEZJA-PROZA-DRAMAT-ESSEJ

*Wybór utworów czołowych pisarzy ukraińskich
zakazanych na Ukrainie.*

Tom objętości 1.000 str. w oprawie

Cena egzemplarza 30 NF (\$ 6,00; £ 2.04.00)

ЮРІЙ ЛАВРІНЕНКО

РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

1917-1934

АНТОЛОГІЯ

створених і заборонених в Україні ліпших зразків

ПОЕЗІЇ - ПРОЗИ - ДРАМИ - ЕСЕЮ

також

40 літературних силует

уміщених в антології авторів, написаних упорядником
антології.

★

Вийшов великий том на 1000 сторінок в оправі :

Ціна : 30 Фр., 6 дол., £.2.04.00.

KULTURA

REDAKTOR : JERZY GIEDROYC

Adres Redakcji : 91, Av. de Poissy, Maisons-Laffitte (S.-et-O.)

Telefon : 962 19-04

PRZEDSTAWICIELSTWA	Egz. poj.	Prenumerata	
		1/2-roczna	Roczna
AFRYKA POLUDNIOWA : Janusz Kruszynski, 54, 15th St., Parkhurst, Johannesburg	3 sh. 9 c	21 sh.	42 sh.
ARGENTYNA : Tadeusz Dabrowski, « Libreria Polaca », Serrano 2076, Buenos Aires	55 pesos	330 pesos	660 pesos
AUSTRALIA : « Vista'la » (Australia) PTY Ltd., Daking House, Rawson Place, Sydney	5 sh. (a)	£.A.1.7.6.	£.A.2.12.6
BELGIA I KONGO BELG. : Janina Ko'ab Brzozowska-Csaky, 19, Square Sainctelette, app. 2, Bruxelles, Nr konta pocztowego 7315-20	35 frb.	180 frb.	320 frb.
BRAZYLIA : Prenumeraty przyjmują : Julia Barcinska, r. Itaipava 101 (J. Botânico), Rio de Janeiro; Zofia Kietlinska, Av. Batel 1514, Curitiba Parana; Jadwiga Swirska, rua Maranhao 213, Sao Paulo		4 dol. am.	6 dol. am.
BRYT. AFRYKA WSCHOD. (Kenya, Tanganyka, Uganda), Roman Krolikowski, POBOX 5979, Nairobi, Kenya	3 sh. 9 d.	21 sh.	42 sh.
FRANCJA : « Libel'a », 12, r. St.-Louis-en-l'Île, Paris-4	2,50 NF	13 NF	26 NF
HOLANDIA : T. Szpilczynski, Ruysdaelkade 5, Amsterdam-Z, Tel.: 716080. Nr Konta pocz. 13500 — t.b.v.S. 6538			
KANADA : M. Jaxa-Debicka, 221 Howard Park Av., Toronto 3, Ont. lub c/O Polish Voice, 1089 Queen St. W. Toronto Ont., K. Krakowska, 3445 Marlowe Avenue, N.D. de G., Montreal/Queb., Tél.: HU 8-5224; H.R. Radomski, 55 Ridge Drive, Toronto 7, Ont. Tél. : HU 9-0829; Roman J. Sas-Babczynski, 64 Indian Rd., Toronto 3, Ont., Tél.: LE 4-1407; Vatra Trade, 273 1/2 Selkirk Av., Winnipeg 4, Man.; « Zwiakowiec », 1475 Queen St. W., Toronto 3, Ont., Tél.: LE 1-2491	2 fl. hol.	12 fl. hol.	24 fl. hol.
MEKSYK : Victor Stanislawski, Av. Libertad 1350, dep. 1, Guadalajara, Jal. Tél. 49855	75 cent.	4 dol.	6 dol.
NIEMCY : St. Mikiciuk, (13b) München 45, Gablonzerstr. 7/1	75 cent.	4 dol.	6 dol.
NOWEGIA : Br. Lubinski, Moss. Kongesgt. 2	2,50 DM	13,50 DM	25 DM
SZWAJCARIA : Maria Wasung, 6, rue des Lilas, Genève. Tél.: 33 34 20, Nr konta poczt. 1.14431	3 sh. 9 d.	21 sh.	42 sh.
SZWECJA : Red Norbert Zaba, Kallskärgatan 3/IV Stockholm	2,50 fr. s.	13,50 fr. s.	2,50 fr. s
U.S.A. : W. Bienkowski, « Gryf Publ. », 296 Sheridan Av., Albany, N.Y., S. Dobczynski, Alma Shipping Co, 121 St. Marks Pl., New York 9, N.Y., L. Dudarew Ossetynski, 670-47 street, Brooklyn 20, N.Y.; S. Dziarczykowski, 4009 W., 23rd St., Los Angeles 18, Cal.; M.K. Dziewanowski, 51 Reservoir St., Cambridge 38, Mass.; T. Konopacki, 1253 Hathaway Av., Cleveland 7, Ohio. Tel. LA-1.2305; Ch. M. Kretowicz, 2109 Robinwood Av., Toledo 2, Ohio; V.B. Kwast, 376 Wallingford Terrace, Union, N.J.; A. Pleszczynski, 2025 Monterey St. Santa Barbara, Calif.; Polish Amer. Book Co, 1136 Milwaukee Av., Chicago 22, Ill.; E. Posyniak, 595 Fillmore Av., Buffalo 12, N.Y.; Praca, 2419 Memphis St., Philadelphia 25, Pa.; The Polish Book Importing Co, Inc., 38 Union Sq., New York 3, N.Y.; K Trojanowski, 17932 Van Dyke, Detroit 34 Mich. Tél. T.W. 2.0890		18 kor.	33 kor.
W. BRYTANIA : « Gryf » Publication Ltd., 169-171, Battersea Church Road, London, S.W.11	75 cent.	4 dol.	z 6 dol.
WLOCHY : Aleksander J. Mikucki, via Giulio Bechi, 2, int. 14, Roma. Tél. : 87-87-89.	3 sh. 9 d.	21 sh.	42 sh.
	300 lires	1.750 lires	3.000 lires

W krajach niewymienionych prenumerata jak we Francji, plus koszty porta 2 NF półrocznie i 4 NF rocznie. Przesyłka pojedynczego numeru: 0,35 NF.

Należności we Francji wpłacać można przekazem pocztowym na adres :

Jerzy GIEDROYC, 91, Avenue de Poissy, Maisons-Laffitte (S.-et-O.)
C.C.P. PARIS 7585-94

Последние новости
Библиотеки „Культуры“

ЖАН ЭРШ

Политика и действительность

ИОСИФ МАЦКЕВИЧ

Контра

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ

Дневник

СИМОН ВЭЙЛЬ

Избранные сочинения

БОРИС ПАСТЕРНАК

Доктор Живаго

ТИБОР ДЭРИ

Ники

ВИКТОР СУКЕННИЦКИЙ

Ошибка Колумба

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

Родная Европа

Цена 2,50 NF